
Артемий ЛЕОНТЬЕВ

ВЗГЛЯД СНИЗУ

Повести и рассказы

ПЕС, КЛАУСТРОФОБИЯ, ЛЕРА И КУКУШКИН

Любовь к собаке заставила вернуться к бывшему мужу. Так бывает, когда пса женщина любит больше, чем его хозяина. Сама Лера говорила подругам: «Гром же не виноват, что принадлежит этому козлу!» Гром — это личность. Статный, роскошный доберман с такой аристократической выправкой, какой позавидовали бы офицеры Российской империи, генеральские адъютанты и лейб-гвардейцы Преображенского полка включительно. «И да, ради того, чтобы жить с Громом, я даже готова спать с этой прожорливой скотиной...» Скотина — это Родион Кукушкин. Двадцатидевятилетний мужчина, тощий, как selfy-палка, по профессии айтишник, так что зарабатывает он хорошо. Может себе многое позволить. У него крутой пикап, часы «Oris» и квартира в элитном жилом комплексе в центре Екатеринбурга с трехметровыми потолками и большими панорамными окнами с видом на плотинку, но такой безнадегой веяло в их отношениях, что вернуться к нему можно было только ради пса.

Лера и Кукушкин познакомились пять лет назад в парке, разговорились как-то само собой, сразу заприметив друг друга еще издалека, моментально сцепившись взглядами — смотрели глаза в глаза так пристально и продолжительно, что не разговориться после этого было уже просто неприлично. Вот и *засопнестилось*, *zablueetoothилось* у нее все с этим *айти*меном моментально, не успела оглянуться, как проснулась в его квартире, зевнула, моргнула — бабах, а ванная комната Кукушкина заставлена ее баночками-скляночками. Дальше — больше, чух-чурух, к Кукушкину переехали ее тапочки, банный халат, вся ее косметика, прокладки, дезодорант, даже любимая ортопедическая подушка притаранилась нежданно-негаданно... Лера до последнего уверяла себя, что это обратимый процесс, что это еще совсем ничего такого не значит, дескать, просто проводят вместе время, что это несерьезно, что она все контролирует, потому что нельзя же встречаться с таким плюгавым и конченным задротом, которого маниакально интересуют лишь компы, «Сони плей стейшен» и его brutальный черный пикап

Артемий Леонтьев родился в Екатеринбурге в 1991 году. Окончил Уральский федеральный университет, Военный учебный центр им. Героя СССР Б. Г. Россохина, Литературный институт на Высших литературных курсах. Член Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, Русского ПЕН-центра. Лауреат премии «Звездный билет»-2019, российско-итальянской премии «Raduga»-2021 и специальной премии им. Фазиля Искандера. Финалист премии «Лицей» 2022 года. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Новый мир». Автор романов «Варшава, Элохим!», «Москва, Адонай!» и «Свет во тьме» (издательств «Пальмира» и «РИПОЛ классик»). С 2022-го по 2023 год находился в зоне СВО, куда ушел добровольцем. Ветеран боевых действий. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалями «За храбрость», «За боевые заслуги», «За освобождение Артемовска» и другими. Был представлен к ордену Мужества. Переводился на итальянский язык.

«форд-раптор» 2013 года (Кукушкин сдувал с него пылинки так коленопреклоненно и набожно, что можно было подумать, будто с этим автомобилем у него связан какой-то религиозный обряд)... Короче говоря, по всем параметрам, совершенно не ее человек эта айтишная приземленная душонка, объективно — им даже не о чем было поговорить, но, увы и ах: как-то Лера открыла шкаф Кукушкина и поняла, что основная масса его содержимого — это именно ее вещи, да и содержимое холодильника продиктовано именно ее привычками ЗОЖ, а не *fastfood*ными убеждениями Кукушкина, который был заядлым кишкоблудом в этом смысле, так что до Леры его холодильник представлял собой гастрономическую коллекцию всего необходимого для приготовления *hot dog*ов, *hamburger*ов и *sandwich*ей. Изо дня в день Кукушкин переваривал все это углеводно-холестериновое изобилие, причем не толстел ни в какую. Лера замечала, что многим айтишникам известна некая диетическая тайна — словно они все запрограммировали или прошили свой желудок каким-то им одним ведомым образом, и это позволяет им целыми днями по-верблюжьки жевать, не набирая вес... Холодильник и шкаф Кукушкина окончательно убедили Леру, что теперь так просто уже не отвертеться — и действительно, чтобы отвертеться, понадобилось мучительно долгих пять нескончаемых лет.

Лера часто спрашивала себя потом, что вообще побудило ее вступить в отношения с совершенно неинтересным ей человеком, и поняла, что, скорее, из-за усталости от своей семьи, с которой она на тот момент жила, несмотря на двадцатипятилетний возраст, полученное высшее образование и вполне стабильную работу. Когда они познакомились, Кукушкину было двадцать четыре. И он просто стал первым попавшимся поводом переехать от родителей. Лера никогда не имела душевной близости ни с матерью, ни с отцом, потому что каждый из них воспринимал родительство, только как обеспечение ее материальных потребностей. Девочка никогда ни в чем не нуждалась, состоятельные родители покупали ей все, что она хотела, отправляли в любые поездки. Маленькая Лера носила самые дорогие вещи уже в школьные годы, не говоря об институтской поре — все одноклассницы и одногруппницы завидовали ей, но не помнила, что хотя бы однажды за всю свою жизнь почувствовала к себе любовь со стороны матери или отца. Хотя какая уж там любовь, это слово казалось слишком громким и претенциозным, она бы удовлетворилась обыкновенными доверием, пониманием и нежностью, но все это было для их семьи за накрепко запертой дверью. Отец жил своими бизнес-проектами и любовницами, охотой и рыбалкой, и сколько ни звал с собой дочь на природу — Лера отказывалась, потому что не хотела ни мертвых рыб, ни мертвых животных, а природа в понимании отца была именно такой. Поездки за красивыми видами или свежим воздухом казались отцу вершиной бессмысленности и праздного легкомыслия, тогда как именно красоту, опыт соприкосновения и уединения Лера считала во взаимоотношениях с природой самыми важными. Мать все время следила за собой, занималась шопингом, ходила по салонам красоты и разрешала свои драмы с любовниками, которые с каждым годом становились все моложе, а Лере — Лере все эти шмотки, любовники и салоны красоты матери казались такими же мертвыми рыбами и животными, которые выглядывали на нее из жизни отца. Одним словом, тоска.

В этом смысле весь опыт прошлых отношений Леры с молодыми людьми до оскомины напоминал то, что преследовало ее на протяжении всего детства: конформизм и формальность, близость, приправленная поверхностными разговорами, совместный досуг и быт. Подобное не могло насытить и удовлетворить, Лера искала большего. В полном смысле слова их сближало только одно — любовь к животным, а если точнее — любовь к псу Кукушкина. В остальном схожие интересы и страсти отсутствовали, да и в оценке людей, окружающего мира, любых событий Лера и Кукушкин были чудовищно далеки друг от друга. Рациональный и прагматичный Родя даже просмотр

фильма или чтение книги считал целесообразными лишь в том случае, если они как-то дополняли его знания. Вот и на еду смотрел прежде всего как на источник белков и углеводов: на продуктах строчка «энергетическая ценность» его интересовала больше, чем «состав», «производитель» или «срок годности». Лера же была убежденной «зожницей», любила все натуральное и многие вещи делала просто так — просто, потому что приносили удовольствие: магия красивых вещей и натуральных материалов, разнообразие ароматов и послевкусий. Источником собственных чувственных и эмоциональных ощущений могло стать все что угодно. Исходя из всего этого, глядя на добермана Кукушкина, Лера ловила себя на мысли, что переехала к Родиону не только из-за того, что устала жить с родителями, а из-за Грома.

Как только она познакомилась с Кукушкиным, подруги начали проявлять интерес к переменам в ее личной жизни, в которой редко появлялись новые лица, но Лера сразу и бесповоротно забраковала Родиона как мужчину.

— Опять тебе твой айтишник названивает?

— Ой, да не берите в голову, у нас с ним нет шансов. От слова совсем.

— А что так?

— Он не в моем вкусе по всем параметрам, ни внешне, ни интересов общих. Мне с ним скучно. Что, мне в его плейку резаться? В «ФИФА» гонять да «Мортал комбат». Ему одни компы да тачки подавай.

Когда Кукушкин встретил Леру после работы в первый раз и подруги увидели его пикап, возникла неловкая пауза. Подруги перемигнулись и как будто немного сглотнули. Девушки попрощались, Лера залезла в авто и пристегнулась.

— Ты бы хоть предупредил, что встретить хочешь. У меня, может, планы какие-нибудь намечались...

— Дак что, есть планы? Давай объединим.

— Нету, я так, к слову... А чего Грома дома оставил? С собой бы взял, в лесу бы его или парке где-нибудь отпустили бы. Ему выбегиваться надо, а ты его с утра на пять минут и десять минуток вечером выведешь, и все. Бедное животное, зачем ты вообще его завел?

— Да ладно ты, остынь, давай заедем за ним, в чем проблема. Шас все сделаем.

— Поехали давай уже...

Когда вещи Леры постепенно переместились к Кукушкину, а черный пикап стал появляться по вечерам возле ее офиса пять раз в неделю, подруги принялись ехидно переглядываться. Она понимала ход их мыслей, подозрения, почти физически чувствовала это главное слово, которое подруги произносят у нее за спиной — *бабки*, но объяснять ничего не объясняла, просто потому, что сама толком ничего не понимала. Одно она знала за себя точно: солидный доход Кукушкина ей безразличен, хотя бы потому, что попроси она у отца практически любую сумму денег, он подкинет, если речь пойдет о действительно стоящем и нужном расходе, а не взбалмошном капризе. Отец и без того каждый месяц переводил Лере на расходы энную сумму денег, которая время от времени, в зависимости от его настроения, удачной-неудачной охоты/рыбалки то немного увеличивалась, то несколько подтаивала.

— Лерчик, не парься. Дался тебе твой офис? Живем один раз! Я не хочу, чтобы ты стала канцелярской крысой... тебе оно надо? Все для вас с мамой! Скажите спасибо, что дал вам возможность просто жить в удовольствие! Мне бы в твои годы кто-нибудь такой щедрый организовал подобную малину, я бы просто сдох от счастья... Увольняйся давай.

Но Лера не увольнялась, а деньги, которые оставались, ежемесячно откладывала на банковский счет. Не из практических или экономических соображений, скорее

наоборот. Ей казалось, что когда-нибудь чаша ее метафизической тоски переполнится, ей надоест плыть по течению, делать то, что делают другие, так, словно они все загипнотизированы или связаны между собой стадным инстинктом, и она бросит все-все, рванет куда-нибудь, уедет прочь, подальше от всех — туда, где нет ни одного знакомого человека, где только неизвестное и новое и даже она сама будет белоснежная и чистая, как холст.

Лера хотела заниматься дизайном интерьеров, она даже отучилась на престижных и дорогих курсах дизайна в одной известной компании, но создать в данной сфере свое дело, начать самостоятельную работу, найти клиентов, сделать хорошее портфолио, сайт, группу, в общем, как-то раскрутиться — на это не хватало элементарной энергии, а может быть, какого-то толчка, в котором она бессознательно нуждалась. Вот и получается, что сейчас Лера пять дней в неделю ходила на неинтересную работу, хотя не нуждалась ни в ней самой, ни в той смешной зарплате, которая с нее перепадает. Она общалась с неинтересными ей подругами (в тишине без них было гораздо комфортнее), и что самое нелепое — она переехала к человеку, который ей нужен, как корове седло, как оливье — кетчуп, а кроссовкам — пальчиковая батарейка. Минутами Лера ощущала себя провалившейся в мусоропровод, словно она была выброшенной туда музыкальной шкатулкой, что долгое время стояла без дела, покрывалась пылью, зарастала паутиной, пока в какой-то момент чьи-то раздраженные руки не избавились от осточертевшего им предмета.

Лере часто снилось, что она заперта в тесном душном пространстве, которое в какой-то момент начинает сокращаться в размерах: стены хрустят и наползают, штукатурка осыпается, потому что через нее пробивается ползучая тихая вода. Вода стекает по стенам, холодит ноги, поднимается все выше, а стены все более напористо и беспощадно приближаются к ее глазам и выставленным в стороны ладоням, и вот жестокая вода подступает к горлу, стены почти смыкаются, и приходится шлепать по ним руками, карабкаться, как лягушке, чтобы выбраться на свободу, но свободы нет — сверху Леру всегда ждет тупой и хладнокровный потолок, после столкновения с которым она просыпается.

Так, сама того не замечая, Лера все глубже проваливалась в рутинные отношения с Родионом, вязла в нем и его квартире, как в огромной бесформенной жвачке. И скажи ей сейчас кто-нибудь, что она скоро окажется вместе с этим человеком в загсе — она бы только покрутила пальцем у виска... Примерно в то самое время, после того, как они расписались, в ее жизни все окончательно посерело и обездушилось, обезразличилось, она могла сказать наверняка: то, что казалось проблемой раньше, после загса уже перестало напоминать о себе, все померкло и обвыкло. Лера откровенно перестала чувствовать своего мужа, он был частью тела, оказавшейся под анестезией, эта часть присутствовала формально, раздражая своей бесполезностью. Лера чувствовала себя в их двушке точно застрявшей в лифте. И что самое дрянное — ей было уже безразлично, где кнопка связи с диспетчером.

Со временем Лера и Кукушкин приобрели дом за городом, а в дополнение к пикапу увлеченный техникой супруг купил себе бэушные спортивный мотоцикл и квадрик. Лера смотрела, как Кукушкин суетится вокруг своих игрушек, и начинала зевать — она ощущала себя вечным пленником, оказавшимся в заточении родительской нелюбви и плоской рациональности, обыденности этого мира. И что больнее всего ранило Леру, так это сознание, что сама она такой же телесный обрубок, который не вправе претендовать на нечто большее, ведь он такой же примитивный, как все вокруг.

За первые полгода отношений Кукушкин подарил Лере подвеску Tiffany, сумку Hermes, кожаный рюкзак Balenciaga, платье Nina Ricci... Но после каждого подарка лицо

Роди принимало такое выражение, что становилось ясно — мужчина глубоко убежден: свою обязанность в отношениях он полностью выполнил, поэтому снова возвращался к своим компьютерам и многочисленным игрушкам, отстранялся и искренне недоумевал, почему Лера ходит такой раздражительной, ведь он только что потратил на нее столько денег. В подобные минуты Кукушкин сильно напоминал ей отца.

Слушая роптания Леры по поводу ее личной жизни, подруги смотрели на нее как на сумасшедшую. Лера жаждала сильных эмоций, а в ответ получала невнятную зону комфорта и предметы роскоши, которые до тошноты напоминали о несчастливом, хотя очень состоятельном детстве. Единственной радостью Леры после того, как душевная тупость Родиона приобрела закосневшие черты, был красавец Гром, он стал отдушиной и единственно близким существом. Лера любила трепать его уши, обожала смачную вонь из открытой пасти, которой тот обдавал, когда зевал и лез обниматься. Приближаясь к дому после работы, Лера подгоняла себя мыслью: вот сейчас открою дверь и окунусь в собачье счастье, увижу розовый язык и белоснежный оскал, приму на грудь две напористые лапы вставшего на дыбы добермана, возьму поводок и пойду с ним гулять, упиваясь ослепительной радостью его черных глаз. Иногда Лера ловила себя на мысли, что рост популярности домашних животных в современном мире основан на экзистенциальном кризисе большинства людей, на их неспособности построить основанные на любви, нежности и доверии счастливые и прочные отношения с себе подобными. Все-таки как ни крути, а любить милую зверюгу, которая всегда тебе рада, гораздо проще, чем человека со всем тем дерьмом, которое, как правило, прилагается вместе с ним.

Со временем Родион все чаще стал совершать уединенные поездки, называя это командировками. Да и возвращался домой слишком уж безразличным, ссылаясь на недосып и усталость, не искал близости. Он ложился в постель и сразу огораживался от жены волосатой спиной. Сначала Лера только подозревала неладное, принималась к своему мужу после каждого его возвращения, пыталась отыскать на его одежде чужие волосы, подбирала пароли к его соцсетям, но все оставалось непроницаемым. Из аккаунтов соцсетей супруг всегда выходил либо просто захлопывал Мас-Бук, стоявший под паролем. Смартфон чаще всего держал подле себя, а когда клал на стол, то прежде чем пойти в туалет, проверял — погас ли экран. Лера постоянно пересчитывала презервативы, которые лежали у них в комод. Учитывая редкость их близостей, делать это становилось с каждым месяцем все проще. Количество презервативов она фиксировала четко — так аквалангист следит за уровнем кислорода в своем баллоне. Лера держала в голове все: когда была куплена коробка, сколько раз «усталость и недосып» им все-таки не помешали, то есть, выражаясь бухгалтерским языком, она бдительно следила за тем, чтобы дебет их гондонов всегда правильно соотносился с кредитом их секса.

Каждый раз, оставаясь одна, прижимала к себе морду Грома, целовала его влажный нос и трепала за ухом, изливала душу: «Гром, вот скажи мне, ты тоже думаешь, что у него кто-то появился? Скажи, ведь это очевидно. Он мне изменяет, это факт. Я чувствую». Пес терся об ее руку носом, согласно хлопал глазами и кивал, энергично двигал обрубок хвоста. Но время шло, а реальных поводов для ревности так и не возникало — то, что раздражало Леру, можно было считать просто надуманным. Ей становилось все холоднее в этом браке, но от развода ее сдерживало желание завести ребенка, она была готова родить и сразу уйти от Кукушкина, это, по крайней мере, давало бы хоть какое-то логическое завершение их многолетним отношениям, но Родион сразу начинал жонглировать словами и напускать туман, когда речь заходила о детях.

— Нет, нет, Лерчик, сейчас это невозможно, просто невозможно. Я всего себя отдаю работе, просто до доньшка выскребаю... у меня нет ни времени, ни сил на это. Финансово да, я готов, но ресурсно нет. Я не хочу сваливать на тебя ребенка, никак не участвовать в процессе воспитания. Не хочу откупаться от своих детей денежными переводами, хочу, чтобы ребенок рос на моих глазах, хочу вкладывать в него свою душу, понимаешь? Вот когда у меня будет своя фирма, я перестану вкалывать на дядю, работать станут уже на меня, тогда рождение детей станет более чем реальным. Я буду свободным человеком...

Его доводы казались Лере убедительными и логичными, поэтому она верила и ждала.

— Давай через год. Нам надо свое здоровье в порядок привести, обследоваться полностью.

На следующий год он уже говорил:

— Осталось кое-какие анализы еще сдать. Времени сейчас очень мало из-за работы, не успеваю к врачу зайти.

И неизвестно, сколько бы еще тянулись эти отсрочки и обещания, если бы как-то на неделе Лера не вернулась с работы на два часа раньше, потому что ужасно разболелась голова. И то, что случилось дальше, стало для нее полной неожиданностью: Лера застала у себя дома какую-то рыжую бабу. Вульгарная особа встретила Леру со смущенным видом. Родион тоже растерялся. Факт наличия в твоей квартире посторонней бабы всегда наводит на определенные мысли. Смущение обоих эти мысли еще более укрепляло, а уж размер груди особы и того вовсе доводил сложившуюся ситуацию совершенно до шекспировского градуса.

— Кто эта рыжая тварь с сиськами?

Тварь поправила волосы и испытующе посмотрела на Родиона: было очевидно, она ожидает его заступничества, верит, что он не позволит никому, даже собственной жене, вытирать об нее ноги. Задавая свой вопрос, Лера смотрела не на мужа и не на эту незнакомую женщину, а на Грома, который затаился в углу и всем своим видом давал понять, что ему тоже не нравится происходящее. Казалось, Лера обратилась к псу, потому что он был единственным живым существом, которому она могла бы поверить, в связи с чем ждала ответа именно от него.

Тварь заговорила приятным мелодичным голосом:

— Родя, по-моему, пора тебе рассказать своей второй жене всю правду.

— Второй жене? — Только тут Лера посмотрела наконец на Кукушкина — уставилась так, будто готовилась к прыжку. Потом перевела взгляд на рыжую особу. — Че ты несешь, дура? Что эта дрянь городит?! Какая еще, к лешему, вторая жена?!

Видя инертную скованность Родиона, рыжая стала наступать:

— Самая что ни на есть вторая. Только вы с ним бездетные, а у нас с Родионом мальчику четыре года. Он тебя про запас держит, ты и на пять лет моложе меня, хотя по виду и не скажешь. Странно, что до сих пор от тебя ко мне не ушел.

— Родион, что эта шмара несет? Это правда?!

Муж наконец-то как будто пришел в себя и шагнул к Лере.

— Мы с ней познакомились задолго до тебя.

Рыжая встряла:

— На четыре года раньше.

— Четыре с половиной, — поправил Кукушкин. — Да, она действительно родила мне сына почти сразу, именно поэтому я не хотел больше детей.

— Почему она называет себя твоей женой?

Рыжая снова влезла:

— Первой женой! А ты вторая! Вторая! И без детей!

— Как это понимать?

Гром гавкнул. Он тоже был возмущен, или ему передалось возмущение Леры. На секунду все трое взглянули на пса, как бы приняв к сведению тот факт, что и у Грома было свое мнение на происходящее, после чего снова скрестили взгляды друг на друга.

Лицо Кукушкина стало тягучим, почти резиновым, голос его виновато задрезжал:

— Мы с ней просто обручены.

Лера открыла рот, глаза еще расширились. Рыжая снова подключилась, выставила перед собой безымянный палец, демонстрируя кольцо.

— Вот видишь! С бриллиантом, ноль пять карата!

— Кукушкин, что это за жезл?

Супруг виновато развел руки.

— Просто обручальное кольцо... Я каждую из вас люблю по-своему, мне трудно объяснить... у нас начались отношения, Наташа забеременела, а потом я встретил тебя и сразу потерял голову. Так бывает, понимаешь?

— На хрен ты меня в загс потащил, дурак ты отбитый?

— Ну, для тебя это было важно.

— А на хрен ты ей кольцо дарил обручальное?

— Ну, для нее это было важно.

— А-а-а-а-а!!! — Лера ничего не могла с собой поделаться, она просто открыла рот и закричала протяжно и жутко. — А-а-а-а-а!!! — Гром подхватил, тоже разошелся. Его басовитый лай вплетался в оглушительный крик хозяйки, сгущая сюрреалистическую, идиотическую атмосферу.

Рыжая Наташа дала о себе знать:

— И как ты живешь с этой сумасшедшей, дорогой?

Лицо Леры приняло осмысленное выражение, она скомандовала:

— Гром, фас!

Доберман оскалил зубы и кинулся к Наташе, страшно зарычал, готовясь к прыжку. Наташа истерично заголосила и ринулась к дверям, ее босые ноги смешно зашлепали по полу, отчего Гром еще больше раззадорился и ухватил ее сначала за лодыжку, а потом за ягодицу. Рыжая визжала, отмахивалась руками, Кукушкин пытался оттащить пса, снова и снова повторяя:

— Фу, Гром, фу! Нельзя! Брось! Фу! Бяка, брось!

Наконец Наташа вырвалась из зубов добермана и босиком выскочила на лестницу. Входная дверь захлопнулась. Родя дернулся было за ней, потом посмотрел на Леру, начал что-то мямлить, но жена влепила ему пощечину. Затем схватила туфли рыжей и подбежала к окну. Отломив каблуки, она скинула туфли по частям на улицу. Разломанные красные туфли с двадцать второго этажа летели эффектно, похожие на умиротворенного самоубийцу. Дверь снова хлопнула, но Лера даже не оглянулась, она знала, что это ее бывший, да, теперь уже бывший муж.

— Пошел успокаивать свою рыжую с...

Гром стоял рядом, уткнув свою влажную морду ей в живот. И благодаря этому интимному прикосновению Лера уже не чувствовала себя такой одинокой, она ощущала рядом с собой пылкое и жаркое дыхание любящего ее и горячо любимого существа.

Развод оформили быстро. Кукушкин не отдал Грома, хотя пес был единственным, чего она требовала. Лера готова была отказаться от любых финансовых притязаний, хотя еще одну машину и большое количество бытовой техники, дорогой электроники они покупали в браке, не говоря уже о загородном доме, сорок процентов стоимости которого оплатили Лера и ее родители. Но Родион пошел на принцип, он знал, как

она любит пса, и хотел уязвить ее. А может быть, и сам любил Грома, хотя никаких особо нежных эмоций между ними Лера никогда не замечала. Ей казалось, что Кукушкин не столько любит, сколько просто привык к нему, а купил его не потому, что хотел собаку, а из своих стереотипных представлений о том, как выглядит жизнь успешного человека, образ которого он невольно или сознательно копировал. В любом случае, когда Лера назло стала отсуживать у бывшего мужа все, что проходило как совместно нажитое, Родион все равно не дрогнул. Они разделили имущество и разъехались. Около месяца Лера находилась в полуистерическом состоянии. Взяла на работе отпуск и целыми днями просто валялась в кровати. Так плохо ей не было еще никогда. Мир снова стал сужаться в душное безвыходное пространство, что усиливало чувство одиночества и обостряло страх смерти, пустоты. Даже когда Лера выходила на улицу, чтобы дойти до продуктового магазина или прогуляться по парку, ей казалось, что она опять застряла в лифте. Это ощущение усугублялось тоской по Грому. Если во время дележки имущества Лера постоянно приезжала к бывшему, имела возможность выгуливать пса, ласкать его, трепать дорогие сердцу уши, целовать влажный нос, щекотать горячий живот, разговаривать со своим любимым всезнающим «собачьим психотерапевтом», как она его иногда называла, то после окончания всех бракоразводных процессов Гром полностью исчез из ее жизни. Лера понимала, что это ненормально, что нельзя быть настолько привязанной к домашнему животному мужчины, с которым у тебя деструктивные и безнадежные отношения, но ничего не могла с собой поделать. В глубине души она понимала: Гром — единственное существо, которое дарит ощущение любви, ее радости, присутствия в жизни чего-то высшего и священного — того, что делает Леру не такой безнадежно несчастной и пустой. Отказаться от этого — выше ее сил.

Пустая квартира и жизнь без любви казались для Леры самым страшным, что только существует в мире. Лера заламывала пальцы. Раньше, еще до отношений с Кукушкиным, она убегала от тишины и пустоты своего жилища к подругам и тусовкам либо просто безоглядно отдавалась работе. После переезда и замужества появился Гром. Родители не избавляли от чувства тотального экзистенциального вакуума ни сейчас, ни в детстве, не по плечу это было и Кукушкину, но то, что не сумели сделать близкие, оказалось по силам породистому псу.

Лера вылезла из постели и вышла на балкон. Балкон часто спасал во время приступов «клаустрофобии». Наблюдая за людьми, женщина успокаивалась. Увидела соседку с овчаркой, подумала, что пора бы уже купить наконец себе пса или кота, но быстро отбросила эту задумку. Да и зачем покупать кого-то, когда есть такой умный, такой привычный, а главное, любящий ее Гром, с которым они так чувствуют друг друга? Лера стала придумывать предлоги для приезда к Роде. Наконец придумала: позвонила и стала врать, что не может найти брошь, возможно, оставила где-то в его квартире. Разговаривая с бывшим, услышала тоскливые завывания Грома. Сердце сжалось. Кукушкин обрадовался звонку и пригласил приехать.

Лера сразу же стала торопливо собираться, уже через час была на месте. Припарковала свой «пежо» с прозрачной крышей у подъезда и бодрой, счастливой походкой направилась к домофону. Она даже похорошела, выглядела просто изумительно, несмотря на то, что была одета просто: спортивный костюм и жилетка-безрукавка, но все это ей очень шло. Перед подъездной дверью приостановилась и спросила себя, не связана ли ее радость с бывшим мужем? Но ничего, кроме раздражения и злости к Кукушкину, не почувствовала. Нажала кнопку лифта, поднялась. Позвонила в дверь. Сразу же раздался лай, видимо, Гром почувствовал ее. Когда Родя открыл, у него под ногами прошмыгнул пес и кинулся на шею. Лера стала тискать и обнимать своего лю-

бимца, трепать его, а пес все норовил облизать лицо, он громко завывал, скулил, то падал на спину, то высоко подпрыгивал, то вставал на задние лапы, то лез на руки, облизывал, лаял, нюхал и часто-часто дышал, отбивая своим маленьким хвостом чечетку. Но нельзя было сильно увлекаться этой соскучившейся нежностью, иначе Кукушкин понял бы, в чем истинная причина ее появления, поэтому Лера кивнула бывшему мужу, даже улыбнулась, хотя в глубине души понимала, что улыбку в ней вызвал Гром, просто она показала ее бывшему, пусть думает, что рада видеть именно его.

Они искали несуществующую брошь минут пять, но это быстро надоело, Лере хотелось играть с псом, который снова и снова лез к ней: Гром валился на спину, переворачивался, запрыгивал на нее, облизывал лицо, полагая, что Лера встала на четвереньки специально, потому что хочет играть с ним и дурачиться, а не потому, что ищет какую-то вещь. Это смешило, Лера то ласково отмахивалась от пса, то почесывала ему живот, трепала уши, то снова делала вид, будто ищет что-то под кроватью и ковром.

Родя предложил выпить чаю. Гром процокал за ними на кухню, царапая когтями не прикрытые коврами части паркета. Пока Родион готовил чай и накрывал стол, доставая из холодильника и шкафа разные сладости, Лера украдкой продолжала ласкать пса, который высунул морду из-под стола и основательно разместил у нее между ног. После того как перекусили, разговорились. Отвечая на вопросы бывшего, несколько приукрашивала — не хотела говорить, что ей плохо — Кукушкин непременно принял бы это на свой счет:

— Жизнь бьет ключом, кипит, бурлит, в общем, все супер, спасибо.

Сейчас, когда Гром несколько успокоился, с него сошла сумасшедшая, захлебывающаяся радость, Лера вдруг увидела, насколько сильно пес осунулся. Это ее встревожило.

— Что с ним? Почему он так плохо выглядит?

Родя вздохнул:

— После того как ты уехала, он плохо ест. Сильно сдал, не слезает со своей лежанки, только в туалет его выведу на улицу, он уже назад домой поводок тянет, какой-то безразличный стал.

Лера еще раз посмотрела на Грома и с трудом сдержалась, чтобы не заплакать: такая душная и сильная нежность рвалась из нее, но она подавила в себе этот позыв, не желая выдавать себя перед бывшим. Даже опустила глаза, чтобы спрятать то, что из них сочилось. Растворила свои чувства в руках, не отрывающихся от собачьей головы. Но Кукушкин все равно уловил ее волнение и принял это на свой счет.

— Мы оба очень соскучились по тебе. Оставайся сегодня на ночь.

С минуту Лера молчала.

— А где твоя рыжая тварь?

— Да все там же. Когда ты ушла, я понял, что совершенно ее не люблю. Деньгами, понятно, помогаю, пару раз в месяц с сыном встречаюсь, но живем мы с ней отдельно.

Лера шмыгнула носом. Она думала о Громе. Даже когда спросила про Наташу, думала только о том, как сильно соскучилась по псу и как мучительно знать, что ее любимец сохнет, голодает от тоски к ней. Это разрывало сердце. Она продолжала молчать. Тут вдруг вспомнилась фраза, которую как-то раз бросила подругам: «И да, ради того, чтобы жить с Громом, я даже готова спать с этой прожорливой скотиной...»

Лера невольно улыбнулась, подняла глаза и сказала:

— Хорошо, я останусь сегодня. Не поверишь, даже зубную щетку с собой взяла и зарядник.

Кукушкин потянулся к ней, но Лера держала свои руки под столом, она без конца гладила любимого пса, ей приятно обжигало пальцы влажным и горячим дыханием, шершавый язык сладко ласкал ладони и запястья...

Рано утром она повела Грома гулять. Они шли сквозь дымку, поднявшуюся от Исети, фонарные столбы еще не погасли, висели в тумане печальными гроздьями. Походки Леры и доberman были похожи, оба имели привычку склонять голову немного на правый бок. Они двигались по безлюдной набережной, Лера смотрела на желтые круги огней, на выступающие ей навстречу из предутренней пелены деревья, на серые чешуйчатые волны реки и даже не думала, она слушала умиротворенную тишину своих смолкнувших мыслей. Вода реки тихо плескалась о плиты, пахло тиной и влажным асфальтом. Женщина приятно поежилась от рассветной прохлады. Ей было чертовски хорошо.

АРХЕОЛОГИЯ ОДИНОЧЕСТВА

В этом году Розе Белозерской исполнилось пятьдесят — ухоженная женщина с холеной кожей и свежим подвижным лицом никогда не курившего человека выглядела не столько на свои годы, сколько на собственное желание восприниматься хотя бы тридцатидевятилетней. Если у нее случайно завязывался диалог с женщиной, она говорила, что ей сорок четыре, а с мужчинами... С мужчинами давно уже не приходилось ни кокетливо лукавить относительно своего возраста, ни загадочно отмалчиваться, их Роза просто не впускала в свою жизнь: то ли держалась за память по умершему от рака мужу Андрею, ее первому и единственному мужчине, то ли просто не видела достойного человека, чтобы попробовать начать с ним что-то новое. Все познается в сравнении, а окружающие представители мужского племени, которые были в поле зрения, не перешивали в ней чувств к умершему супругу — память о нем все так же свежа, как запах его старой одежды в шкафу, так же зрима и осязаема, как совместно нажитые за время двадцатипятилетнего брака толстощекие и румяные книги с пыльными переплетами, с такими же уставшими и потрепанными корешками, какой себя ощущала одинокая женщина. Как следствие, было совершенно непонятно, ради кого молодится Роза, если избегает знакомств и только изредка видится с некоторыми из своих старых подруг.

О муже в квартире напоминало все: посуда, мебель, одежда, сам ремонт, давно сделанный совместными усилиями, так что каждая морщинка обоев на стене напоминала ей о двух молодых и счастливых людях, измазанных краской, смешливых и влюбленных, о мужчине и женщине с газетными пирамидками на головах, о том, как много лет назад они размахивали здесь липкими кисточками, приклеивали бумажные полосы обоев к стенам, пытаясь благоустроить маленький и тихий мир квадратных метров своей робкой любви в пугающе бездонном и необъятном мире. Они с хохотом роняли шелестящие листы на себя, целовались, подхватывали, старательно прижимали к стене, прикрывая наготу собственного пристанища, стремясь сделать его более надежным и обжитым; из-за следов штукатурки и краски на лицах они напоминали двух счастливых детей, измазавших себя талым мороженым. В те дни ленинградская квартира, принадлежавшая за время своей бытности столь многим, прошедшая революцию и блокаду, обретала своих новых хозяев, а хозяева обретали ее. Здесь начиналась новая жизнь, опускались в землю молодые корни. Наверное, только сейчас Роза в полной мере понимала: тогда, когда они с мужем кадили здесь кисточками, банками и ведрами, размахивая всем этим, как священники, они делали нечто большее, чем просто капитальный ремонт, они совершали некое таинство освящения этих квадратных метров, благословения для того, чтобы в будущем слиться с этим пространством

и превратить его в нечто неотделимое от их с мужем общей судьбы. В полной мере квартира открылась перед своей хозяйкой только сейчас, сбросила с себя покров, всегда делавший жилью лишь фоном. Теперь же стало очевидно: она не фон, не декорация к жизни, а хронос и топос мира супругов Белозерских, нечто почти одушевленное.

После смерти Андрея его тапки продолжали стоять рядом с кроватью, на полке в ванной — его зубная щетка, рядом — бритвенный станок и лохматый помазок, даже на кухне стеклянная банка растворимого кофе, купленного им, когда он в последний раз ходил в магазин; кофе оставалось на доньшке, может быть, чашек на пять — со смерти мужа прошло чуть больше года, но Роза так и не опустошила ее до конца, как будто специально перешла в последний момент на пакетированный чай, чтобы сохранить не столько банку, сколько иллюзию присутствия любимого мужчины, который не похоронен, он только вышел на балкон покурить или уехал в командировку. Даже на кресле в гостиной до сих пор висели его футболка и шорты, в которых он ходил по дому. Поначалу Роза прибралась после похорон, а когда утром одна проснулась в постели, вышла в другую комнату и увидела эти пугающе пустые, невыносимо прибранные кресла, безжизненно-опрятную и лишённую знакомых следов квартиру, у нее случилась истерика, после чего она разбросала по дому некоторые вещи Андрея, чтобы ощущать квартиру живой, а себя не такой одинокой. Вот уже больше года на журнальном столике лежала недочитанная им книга с закладкой на сто девяносто девятой странице, на кресле — шорты с футболкой, на подоконнике — пачка сигарет и чугунная пепельница в виде большой рыбины, раскрывшей огромную пасть с горстью пепла, перемешанного с пылью и поросшего паутиной.

Безусловно, у каждой квартиры, как и у всякого человека, есть своя история, которая выражает себя через миллион деталей и частных историй, вот и квартира Белозерских в какой-то момент заговорила, рассказывая Розе свою историю. Только сегодня утром женщина разглядела на стене проступающие под обоями очертания печки-буржуйки, вернее, ее основания — то место, где она когда-то стояла, прислоненная к стене. От этих очертаний печи повеяло блокадным холодом и голодом, душераздирающим и безысходным, мучительным. Роза не могла понять, как и почему не увидела этот выпуклый прямоугольник скорби в то время, пока они с Андреем обклеивали комнату обоями. Обнаружив на стене эти линии утром, зримо представила у не существующей ныне печи перепуганных, уставших людей, измученных историей и ее потрясениями; Роза увидела, как они жались здесь друг к другу, ища объедки перепадавшего им уюта, тепла и жизни. Наверное, была слишком счастлива тогда, чтобы замечать следы чужого несчастья, тем более такие туманные и косвенные. А подняв глаза к потолку, Белозерская остановила взгляд на лепнине девятнадцатого века — печати тех времен, когда их с Андреем квартира была лишь одной из многих комнат какой-то очень богатой и сытой семьи. Лепнину, само собой, Роза видела, но как-то не «прислушивалась» к ней и не анализировала, поэтому только недавно стала соотносить ее с Российской империей и той дворянской или купеческой семьей, что жила здесь до революции. Раньше она смотрела на потолочную лепнину только как на лепнину, а сейчас, как на историю: женщина стала восприимчива, она вслушивалась в окружающее пространство, всматривалась в черты своего уходящего мира так, как всматриваются в черты лица того, с кем приходится расставаться вопреки желанию быть вместе. Нет, Роза не чувствовала себя старухой и не готовилась к смерти, просто как-то отчетливо осознала, что ее жизненная история завершилась с того самого момента, когда все зеркала квартиры занавесили черной тканью, а в центре гостиной появился гроб с Андреем. Теперь здесь нет ни черной драпировки, ни гроба, но все то, что тогда было привнесено в ее жизнь и квартиру, прочно поселилось здесь, пустило корни и обосновалось навеки.

В прихожей на оленьих рогах висели кепка-пролетарка и вязаная шапка мужа с шерстяным шарфом; впотьмах, когда Роза только входила в квартиру, они напоминали развалившегося на вешалке кота. Женщина не стирала эти вещи, не отдавала дорожную для сердца, привычную, почти сросшуюся с ее миром одежду в химчистку, мало того, упаковала его штаны и верхнюю одежду, некоторые сорочки и футболки в полиэтилен, чтобы сохранить запах любимого человека, пытаясь мумифицировать его дух. Время от времени, достав из шкафа вещи мужа, она вскрывала полиэтилен, как консервы, стягивала его с вещей и устраивала себе ностальгический пир запахов и ретроспективных ассоциаций, раскладывая все это на брачном ложе из массива дуба — на старой громоздкой кровати, доставшейся от свекрови. Тяжеловесная и монументальная эта кровать стояла в спальне с того самого дня, как они с мужем сюда въехали. Сначала зиждилась здесь, как в порту на якоре стоит стройная шхуна, свежескрашенная и крепко сбитая, нетерпеливая, с веселым поджарым скрипом, напоминавшим хруст молодых косточек и сухожилий, в любой момент готовая сорваться с места и устремиться в неизведанную, а потому так сильно намагниченную новью фиолетовых горизонтов, томных закатов и нежно-розовых рассветов. Этот семейный корабль, сумевший так много пройти и по петляющим руслам рек, и по открытым морям их личной жизни, преодолевший не один шторм и не единожды садившийся на мель, неизменно прорывался вперед без течи и пробоин, менялся вместе с супругами, он изнашивался и стирался так же, как изнашивалась и стиралась их страсть, их жизнь, но не любовь друг к другу. Это стареющее судно как бы на веки вечные связало двух людей, отправившихся в кругосветное путешествие с тех самых пор, как расписались в загсе и венчались в церкви. И вот теперь эта уставшая посуда бросила якорь и тяжеловесно и лениво покачивалась на размеренных волнах. Она до сих пор излучала жизненную силу и энергию, но появилось и другое — какая-то тоскливая обреченность... Роза не могла привести в дом нового мужчину, даже вообразить было трудно, как можно лечь на этот семейный корабль из массива старого дуба с другим человеком, ведь скрипучая эта кровать значила нечто большее, чем просто предмет мебели или интерьера. Так же и книги были не вещами, скорее, сгустками воспоминаний, призраками прошлого, слившимися воедино, как озерная застоявшаяся вода с цепким и тягучим туманом над ней.

Сегодня женщина разложила на кровати твидовый костюм-тройку, который до сих пор производил солидное впечатление, — свадебный костюм мужа. Андрей купил его с расчетом, чтобы носить в дальнейшем по особо торжественным случаям, но так случилось, что за нехваткой этих самых случаев стал надевать всякий раз, когда уходил в очередной день своей повседневности. Сильнее всего были изношены брюки и пиджак, правда, вследствие этого они выглядели только лучше, как-то одушевленное. А вот жилетка светилась новизной, несколько выцветшей и чуть полинялой, будто ее не столько время пометило своим клеймом, а окатило как-то раз очень крутым кипятком, оставив на ней белесый оттенок прошлого, который совершенно стерся с брюк и пиджака. Добротное шерстяное сукно хорошей выделки, как и натуральная кожа, от непрерывной носки только выигрывают, делаются благороднее, словно выдержанное вино, вот и с костюмом покойного мужа была та же история, разве что заплатки на брюках несколько портили их почтенный вид — одна между ног и еще две на коленках.

Особенно хорошо держала запах мужа кожаная куртка с подкладкой. Изношенная до глубоких трещин и стертая на локтях почти до дыр, хрустящая и шершавая, точно кусок черствого хлеба, она напоминала восковой слепок, взятый с Андрея. Финская куртка (купленная, впрочем, в Эстонии, а если точнее, в Эстонской ССР, куда ездили

на Новый год) относилась к категории «вечных» вещей, которые можно было считать никогда не выходящими из моды: в ней неведомым образом сквозил и гонорок пацанской щеголеватости и одновременно что-то брутально-почтенное; куртка отлично сочеталась как с деловым костюмом, так и с рабочей робой, спортивными штанами или джинсами, за что и ценилась Андреем особо, отчего он практически ее не снимал. Роза практически не отделяла эту куртку от тела своего любимого человека и не была в этом ощущении одинока: свекровь предлагала похоронить своего сына именно в ней, но Роза воспротивилась — не захотела лишать свой священный фетиш самого важного артефакта. Данный предмет воспринимался осязаемо теплокровным и дышащим, всякий раз женщина всматривалась в него, да и в остальные свои распеленатые сокровища, то ли силясь понять что-то о себе самой и своей жизни, то ли с маниакальным усердием вспоминая своего первого и единственного. Глядя на нее со стороны во время таких церемоний с одеждой умершего супруга, можно было подумать, что Роза проводит литургию: так чинно и сосредоточенно она держала себя, так торжественно, по-жречески, возвышалась перед своим алтарем.

Женщина ничего не могла с собой поделать, но в небольшой петербургской двухкомнатной квартирке третьего этажа, где прошла большая часть жизни Розы после ее переезда с Урала, ее воспоминания цеплялись именно за интерьер и предметы, за вещи и одежду мужа, так что жилище невольно превратилось в музей, посвященный любимому мужчине. Даже магнитики на холодильнике воспринимались как карта их отношений. Роза всегда рассматривала их в хронологическом порядке. Керамический «Выборг» с пузатой башней (их первая совместная поездка, самый старый магнитик с отколотым уголком). Магнит «Гантиади» напоминал о медовом месяце, который, впрочем, продлился только десять дней; тогда в восьмидесятые ее даже после Ленинграда поразило, насколько хорошо жили абхазы, кормясь за счет туристов и сдачи в аренду своих квартирок и «кукольных» домиков из фанеры, за счет продажи мандаринов, которые росли щедрее и настойчивее, чем на уральской родине Розы сорняки с крапивой. Там холеные и сытые мужчины беззаботно разъезжали на белых «Жигулях», восседали в ресторанах, попивая вино и проворачивая торгашеские дела с видом доморощенных падишахов. Роза невольно сравнивала эту жизнь с тем миром, из какого уехала лимитчицей в Ленинград, вспоминала, как на Урале выживала ее семья, как ходили в магазин с пустыми прилавками, получали по талонам кусок сливочного масла и несли его, держа обеими руками, словно младенца. Магнитик «Анапа» напоминал о том, как сильно оба сгорели тогда, мазали друг друга сметаной и корчились от боли во время занятий любовью, стараясь во время близости по возможности не соприкоснуться телами. «Псков» и «Великий Новгород» — на два этих города у них была всего лишь неделя, а оказалось, что на один только Новгород нужно, по меньшей мере, дней шесть, чтобы успеть увидеть все самое важное: древние церкви, монастыри, фрески, мастерские и выставки. Потом очень хотела вернуться, чтобы навестить то, что не успели, но как-то не сложилось.

Дальше следовали магнитики с городами «Золотого кольца». Потом у них с мужем проснулась страсть к горам, и они объездили весь Кавказ, Алтай, Кольский полуостров, Урал. Роза часто вспоминала ночевки в спальниках, утренние пробуждения, когда ты вылезал из палатки с ясной головой и, ошалев от свежего горного воздуха, который буквально ошпаривал своей льдистой чистотой, смотрел и не верил глазам, потому что не может, не может быть такой красоты, а все-таки она есть. Потом в среднем раз в год на холодильнике один за другим появлялись магнитики «Финляндия», «Калининград», «Литва», «Польша», «Латвия», «Венеция», «Прага», «Берлин». Позднее начались финансовые трудности, магнитики стали украшать их жизнь реже, иногда раз

в два, а то и в три года. Зато теперь Роза прилепляла их к холодильнику с еще большим вкусом, чем раньше, даже с какой-то торжественностью — так разбивают бутылку шампанского о корпус спущенной на воду подводной лодки. «Бельгия», «Франция», «Португалия», «Ирландия», «Шотландия», «Исландия», «Мексика», «Индия», «Катманду», «Петропавловск-Камчатский», «Каир», «Тель-Авив», «Мадрид», «Байкал», «Сицилия», «Узбекистан». Каждый магнитик невольно становился замочной скважиной, через которую Роза заглядывала в их прошлую поездку, вспоминая эмоции, что были связаны с ней. Стояла перед холодильником, как Александр II, взирающий на карту Российской империи до продажи Аляски; казалось, что перед ней необъятный, совершенно феноменальный мир — их с Андреем семейное царство.

Книги не являлись исключением: есть написанные в соавторстве, а есть те, которые прочитаны вдвоем, таковой была почти вся их семейная библиотека. Первопроходцем в чтении была Роза. Она делала карандашные пометки, плюсами и восклицательными знаками помечая самое значительное, яркое и необыкновенное, а минусами — то, что не стоило брать во внимание. И только после такого «естественного отбора», как его называл муж, за книгу брался Андрей, ступая след в след — он читал только то, что в содержании пометила для него жена, полностью доверяя ее вкусу. Часто супруг дополнял краткими замечаниями на полях ее плюсы, минусы, восклицательные знаки и вопросы. И чем интереснее и важнее для них обоим была книга, тем больше в ней появлялось карандашных следов. Казалось, что такие книги — самые драгоценные, тщательно изрыты ими и даже отяжелели от испещрившей их карандашной клинописи. Каждый из супругов видел то, чего не замечал другой, и они еще теснее связывались в единое целое, скрепляясь в том, в чем их еще не скрепила общая телесность постели и каждая новая ночь, проведенная в ней. Роза воспринимала книги как символ их душевной близости, а вековую кровать из дуба как символ близости чувственной. После смерти мужа женщина практически перестала читать, а если и подходила к книжным полкам и брала что-нибудь, то только листала, перебирая и оттряхивая, пристально вглядываясь в карандашные пометки на полях и погружаясь на досягаемую лишь ей одной глубину.

Счастливые в своей взаимной любви, Роза и ее муж все-таки не были удовлетворены жизнью. Во-первых, их брак оказался бездетным, а во-вторых, большую часть своей жизни они занимались нелюбимым делом: она работала бухгалтером, он — одно время водителем, потом электриком в порту. Книги, а еще поездки компенсировали им то, чего жизнь как будто недодала обоим.

Женщина плавала в квартире, как в аквариуме, и едва ли смогла бы ответить, что сильнее всего сдавливало ее — густое и жирное, как топленое молоко, счастливое прошлое или бесплодное будущее? Бездетность, смерть мужа или разлитая по всей жизни спокойная и грустная радость человека, ощущавшего себя одиноким только последний год своей жизни, а в остальное время бывшим простодушно счастливым? Роза плутала в этих вопросах, в закоулках времени, не в силах понять, чего в ее жизни все-таки больше: прошлого, настоящего или будущего.

Женщина вспоминала, как незамысловато и пресно начинались их отношения. Они познакомились в продуктовом магазине в очереди перед кассой. Случайно разговорились, обменялись улыбающимися взглядами, телефонов тогда не было, а адрес общежития, в котором жила, Роза давать не хотела, и на словах договорились о месте и времени встречи. Договоренность была такой хрупкой и уязвимой, и это будоражило еще больше. Роза фантазировала: вот сейчас в ее троллейбус врежется какой-нибудь пьяный идиот; вот она или Андрей подвернет ногу или попадет под машину, отравится завтраком, нарвется на грабителя, и две линии не пересекутся в единой точ-

ке больших ожиданий, сильнейших желаний и великих предчувствий. Все обошлось, встреча состоялась в условленном месте и в назначенное время благодаря желанию двух людей увидеться и улыбнуться друг другу. Они встретились в пышечной на Большой Конюшенной, двадцать пять. Она пила тогда кофе со сгущенным молоком, он заказал томатный сок, куда щедро сыпанул перца, отчего крепко чихнул — как-то пощеньячи влажно и очень трогательно. Роза потом неоднократно ловила себя на мысли, что именно с того момента, когда широкоплечий и басовитый Андрей так смешно и беззащитно чихнул, и зародилась ее нежность к нему. В ту первую встречу Роза не хотела говорить, что живет в Ленинграде лимитчицей, думала даже соврать, потому что носила на себе этот ненавистный статус, как еврей из гетто — желтую звезду Давида. Была уверена: с такой правды могут начаться нормальные отношения только с себе подобным, таким же понаехавшим, нищим и бесправным, какой была она, но узнав, что и Андрей, хоть и коренной петербуржец, все-таки простой работяга, осмелела и сказала как есть — он отреагировал с полным безразличием.

После этих взаимных признаний, которые тогда казались ей важными, а сейчас вызывали своей трагикомичной нелепостью лишь улыбку сухих поджатых губ, Роза и Андрей стали проводить вместе все больше времени, и так до тех пор, пока миры их интересов и привычек окончательно не ассимилировались друг в друге. Роза даже начала разбираться в технике, электронике, двигателях: слова — заземление, законы Кирхгофа, степень сжатия, поляризация, кривошип, плунжер — приобрели для нее смысл. Она стала разбираться в футбольных клубах, смотреть игры Лиги чемпионов и Европы УЕФА, турниры КХЛ и НХЛ, а Андрей полюбил художественную литературу, к которой оказался так неожиданно восприимчив и чуток, моментально улавливая любую фальшь своим незамыленным, как у филолога, взглядом. У них появились общие любимые песни — та музыка, которая принадлежала только им одним, потому что была открыта и прочувствована вместе.

Вместе с тем Андрей убедился, что знает свой родной город значительно хуже, чем его успела узнать недавно приехавшая Роза, поэтому не он ей, а она ему показывала самые интересные и знаковые места. Андрей хорошо знал все районы, названия улиц, дорожные развязки, пути-переулки-склады-предприятия-парковки-магазины, самые хорошие и недорогие мастерские по ремонту обуви, но не замечал уникальную красоту Ленинграда. До Розы он воспринимал город как обездушенное нагромождение зданий, предприятий, заведений, музеев и улиц. Роза научила видеть Андрея прекрасное даже в старых промышленных районах вдоль Обводного канала. Однажды, гуляя вдоль реки Пряжки, на берегу которой стоит дом Блока, и пытаясь попасть оттуда в портовую часть, они сильно запачкали одежду матерым мазутом и остаток вечера ходили по окрестным магазинам, чтобы найти нормальный отбеливатель, а потом впервые пошли к Андрею домой. Роза тогда впервые осталась у него на ночь: сначала тщательно отбелила одежду и отмыла обувь, после чего они по очереди сходили в душ, а потом тряслись со смехом и кутались в одеяло, потому что, как назло, отключили горячую воду. Уже ближе к полуночи Роза вдруг разыгралась, взлохматила Андрея, решив почему-то во что бы то ни стало постричь его — так словно всецело обновляла этого мужчину, готовила его пространство для того, чтобы стереть с него следы всех его прошлых женщин, дабы войти в него, как в чистый лист, отдать себя и заполнить собой раз и навсегда. Она что-то с упоением рассказывала ему в затылок, стригла его жесткие волосы и умилялась этими падающими лоскутками, похожими на шерсть большого и сильного животного.

Сейчас ее пятидесятилетнее настоящее заполняли подагра и остеопороз, так называемая повышенная ломкость костей, еще гипертония и более обыденные — варикоз

с гастритом. А связующими нитями с внешним миром и улицей стали продуктовые магазины, поликлиники и аптеки — работать она уже не работала, только иногда брала бухгалтерию разных фирм на дом. За деньгами не гналась: откладывать их ей было не на что, для себя она ничего по-настоящему не хотела, поехать куда-нибудь без Андрея не возникало желания, понимая, что без него не испытает в поездках ни счастья, ни упоения. От встреч с подругами-сверстницами Роза последнее время уклонялась все чаще: все они без исключения непрерывно рассказывали о своих детях и внуках, а слушать об этом бездетной Розе оказалось тяжелее, чем она могла предположить.

Когда Белозерская совершала вылазку в равнодушный и суетный мир настоящего, покидая тишину своего квартирному храма, она одевалась почти всегда небрежно, серо и обыденно, то ли чтобы не искушать лишней раз мужчин, то ли чтобы не дразнить мужским вниманием саму себя. Исключением являлся один день в месяце, выбираемый случайно, по наитию. Тогда Роза надевала черное вечернее платье, длинные перчатки, шляпу с огромными полями, туфли на каблуках, брала свою лучшую дамскую сумочку (зимой накидывала сверху шубу) и ехала на встречу со своим возлюбленным — он был похоронен на Большеохтинском кладбище, поэтому в последнее время места всех их свиданий не менялись. После кладбища обычно заходила в пышечную на Большой Конюшенной, долго сидела за столиком одна, иногда до самого закрытия: смотрела в окно, пила кофе и без конца поправляла руками широкие полы шляпы. В эти дни на улице иногда к ней подходили мужчины, возможно принимая за женщину легкого поведения, а кто-то просто бросал любопытные взгляды, стараясь распознать в ней знаменитость советской поры. Во всем ее виде было нечто парадно-трагичное, а главное, ощущался дерзкий вызов и какой-то маниакальный перфекционизм, последнее усилие, почти рывок — точно так выглядят офицеры, надевающие парадный мундир перед тем, как пустить себе пулю в лоб.

Зимой на кладбище приходила на пару часов, летом, бывало, проводила там полдня. Роза знала: многие из работников кладбища считают ее сумасшедшей, постоянно ловила на себе их косые взгляды, но взгляды живых ей были безразличны. Ее гораздо больше волновало, что лица умерших людей воспринимаются ею как более близкое, понятное и осязаемое, чем лица живых — все эти потусторонние люди, скованные контурами размещенных на памятниках снимков, взирали на нее с прямоугольников и овалов, как из окон многоквартирного запечатанного дома. Попадались здесь и неприлично новенькие, вычурно яркие снимки над похожими на свежевспаханные огороды могилами, от их аккуратных черноземных холмиков обманчиво веяло плодородием и жизнью, но больше все-таки было выцветших, линялых снимков и полустертых могил, отринутых и поправленных — почти растворенных в ландшафте, слившихся с кустарниками и травой. Такие напоминали перегонной, сквозь щедрую силу которого прорастают новые поколения, новые чувства и сны; Роза смотрела на окружающие ее могилы, как на вселенские дрожжи, без которых жизнь каждого нового дня не сбродилась бы в такое плотное и сытное тесто, а энергия каждой новой ночи — в терпкое и обжигающе насыщенное вино.

Особенно Роза любила бывать на кладбище весной, когда сквозь разлапистые цветущие ветви, как сквозь витиеватые и громоздкие фразы, нет-нет, а проклевывался щедрый смысл мироздания. Птицы ликующе горланили, отпевали лежащих на этом погосте, сирени и яблони пестрели праздничными кружевами, размахивая гроздьями цветов, как опахалами, вот и Роза шла по узким петляющим зеленым тропкам, воодушевленная и томная, как перед встречей с любимым после долгой разлуки, впрочем, так оно и было... Одной только весной ее приподнятое настроение не казалось ей кощунственным, она сливалась с торжествующим духом природы, образуя с ним единое

целое: весна не знала траура даже на кладбищах, жизнь набухала, сквозила отовсюду, наливалась соками и распространяла среди могил свой благоуханный и счастливый чад цветения. Весной утреннее солнце нависало над миром материнской кормящей грудью, щедрым, лучезарным и священным божеством, тогда как зимой низкое обесцвеченное небо, казалось, ничком падало на заснеженную землю, уткнувшись своим немощным бельмом-светилом в городское кладбище, словно ледяным стетоскопом ощупывая пульс этого обездвиженного и мертвого, присыпанного хлоркой земного тела. Похожее настроение царило на кладбище поздней осенью — после опадания листвы могилы становились пугающе обнаженными, они лишались алтарного ореола и воспринимались как низвергнутая во прах телесность — обглоданная кость и сгнившие доски, только это.

Зимой и осенью эмоции Розы, ее наряды казались верхом неприличия — люди оглядывались на нее как на безумную. Вот и мужа хоронили весной, возможно, поэтому иногда ей и казалось, что он жив, потому что, вспоминая похороны, Роза видела перед собой яблони и сирень, залитые солнцем ослепительного теплого дня, в который птицы пели громче, чем плакали следовавшие за гробом люди, выстроившиеся затем вокруг могилы. Даже свадьба вспоминалась Розой в более мрачных красках, хотя бы потому, что тогда между ними произошла тяжелейшая ссора — родная сестра мужахватила лишнего и стала кричать за столом, в первой стадии опьянения:

— По-моему, свадьба не задалась.

Во второй стадии:

— Андрюша мог бы лучше найти, побогаче, по красивей...

В третьей:

— Да она же с тобой только ради прописки питерской, Дюша, опомнись! Тебе только свистнуть — бабы на шею мешками вешаться будут!

После скандала, возмущенных упреков-слез Розы и оправданий Андрея в пылу взаимных обвинений новоиспеченный муж вдруг совершенно взбесился, сорвался и выбросил обручальные кольца в окно третьего этажа на черную, шумную и многолюдную улицу. После этого у Розы проснулось хладнокровное понимание, что на данный момент она единственная, кто может спасти их молодой брак от этой пьяной истерики, от кривотолков и сплетен. И она молча накинула на свадебное платье зимнее пальто, выбежала во двор, прошла через арку, нащупала глазами окно и почти сразу нашла под ним кольца в не растаявшем еще сугробе — утопленные в снег, они лежали друг на друге, как новобрачные, почти в обнимку, хоть и облепленные царапающим руку жестким обледенелым снегом, но все-таки крепко-накрепко слитые воедино, присыпанные белоснежной пылью, сквозь которую пробивалась сверкающая желть теплокровного золота пятьсот восемьдесят пятой пробы...

Сегодня Роза проснулась рано, слишком рано даже по ее меркам, открыла глаза около пяти часов утра, долго не вставала, не могла оторваться от проступающих очертаний блокадной печки — уставилась на этот слепой прямоугольник с гипнотическим упорством, почти не моргая, шмыгала носом и все сильнее поджимала под себя ноги. Часам к семи скинула с себя одеяло и выбралась из постели, накинула халат. Прошла в ванную, умыла лицо, вымыла голову, вышла в коридор, взяла фен и стала сушить волосы, трепать свою неумолимо седеющую шевелюру, которую снова требовалось подкрашивать. Выключив фен, Роза остановила взгляд на большой напольной колбе, высотой метра полтора, доверху заполненной винными пробками. Пробки они с мужем собирали всю совместную жизнь и никогда не бросали в колбу чужих, тех, которые им часто приносили гости, обратившие внимание на эту своеобразную тра-

дицию. Роза и Андрей всегда благодарили гостей, но после их ухода всегда выбрасывали — это был их бокал, только их и никого больше. Сейчас, глядя на него, Роза вдруг весело улыбнулась. Тоска отступила, женщина перестала чувствовать себя одинокой, а жизнь — изжитой.

Расплываясь все более широкой улыбкой, расчесала волосы, поправила распахнувшийся халат и пошла на кухню, чтобы приготовить себе завтрак. Перед плитой стоял Андрей, он варил ей кофе. Роза подошла сзади и с благодарной нежностью прижалась к нему, уткнулась носом в его лохматый седеющий затылок, который она стригла в их первую ночь, и осознала вдруг, насколько она счастлива, насколько все-таки щедро к ней жизнь, насколько много любви и жизни она успела познать.

ТРИ СЕСТРЫ

Злата вставила ключ и открыла дверь, вошла в плотную темноту, нажала выключатель, заранее прищурив глаза. Пустое помещение наполнилось белым люминесцентным светом, темные картонные стены превратились в стеклянные аквариумные витрины, заставленные коробками с витаминами, таблетками, презервативами, мазями, кремами и спреями. На нижних полках лежали тонометры, рядом градусники и зубные щетки. Открыла дверь рядом с окошком прилавка, вошла в свой прозрачный застенок. Сняла куртку, повесила в шкаф, достала белый халат. Попыталась подавить зевоту, но никак не справлялась с этой непростой задачей. Включила чайник и высыпала в грязную кружку кофе три в одном.

Каждое утро она смотрела на сильнейший налет в своей кружке и каждый раз обещала себе помыть ее, но этим все и ограничивалось. Через пять минут пойдут покупатели, а еще нужно проверить терминал, холодильники, посмотреть в компьютере новые заказы, подготовить их к выдаче. Впрочем, последнее можно сделать в течение дня, но температуру в холодильниках и терминал в первую очередь.

— Помою в обед или в конце смены, — решила она, прекрасно понимая, что ни сегодня в обед, ни вечером не сделает этого, потому что весь день будут дергать покупатели, а вечером она будет валиться с ног, и единственное, чего будет желать — вернуться поскорее в свою пустую съемную квартиру, лечь на кровать, оперев ноги на стену, чтобы кровь отливала от ступней к бедрам. Потом собраться с силами и приготовить себе ужин. А может быть, по пути снова купит себе шаурму на первом этаже дома, в котором живет, — как ни крути, а сэкономить время на готовке и мытье посуды слишком сильный соблазн. Готовить для себя одной — пустая трата времени. Ради чего стараться? То же самое с уборкой. Злата не убирала квартиру уже три недели, будь сейчас лето, давно бы спотыкалась об куски пыли, похожие на скатавшийся в комки тополиный пух. Вот и с кружкой та же история: Злата не хотела смывать этот треклятый налет ни с нее, ни со своей съемной пустой квартиры.

Не успела допить кофе, дверь звякнула, явился первый покупатель. Снова попыталась подавить зевоту, вышла к окошку. Утро начиналось плохо, в оконце заглядывала бабушка — по старой примете, если первый покупатель пенсионерка, значит, день будет дрянный.

— Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь от запора и что-нибудь укрепляющее для волос. Какой-нибудь лосьон или шампунь целебный.

Злата внимательно смотрела на старческое женское лицо и не шевелилась. Ей на секунду показалось, что она сейчас стоит перед зеркалом, а эта пенсионерка — ее соб-

ственное отражение. Ей стало не по себе. Пауза затягивалась, но Злата собрала с мыслями и ответила:

— Чернослив.

— Что, простите?

— Я говорю: чернослив. Помогает от запора.

— Я знаю, но я хочу что-нибудь медицинское.

— Вам больше некуда потратить свои деньги?

Бабушка внимательно поморгала на фармацевта, не зная, что ответить.

— И для волос тоже не нужно вам ничего. Мне тридцать девять, я самым дешевым шампунем из «Магнита» с репейным маслом пользуюсь, и нормально. У нас все дорогое, зачем вам это?

— Но я хочу что-нибудь медицинское.

— Нет.

— Что нет?

— А я не хочу. Я вам сейчас пробью на четыре тысячи два средства, одно от запора, второе — шампунь для укрепления волос, он сразу с маской идет. Вы этого хотите?

— А дешевле нет ничего?

— Есть. Чернослив и репейное масло в «Пятерочке» купите.

— Хорошо, я поняла.

Пенсионерка немного расстроилась, еще раз внимательно поморгала на Злату и направилась к дверям, а девушка вернулась к своему уже остывшему кофе в грязной кружке с застарелым налетом. Села и задумалась.

Вот уже одиннадцать лет, как она переехала в Москву из Тулы. И почти семнадцать, как окончила медицинский колледж. Планировала поступать в медицинский университет, но за три года так ни разу и не набрала нужное количество баллов, чтобы пройти на бесплатное, потом надоело, даже пробовать перестала. Да и как-то привыкла работать фармацевтом. Несколько лет у себя в Туле, потом здесь в Москве. А может, просто свыклась или утратила ту зудящую наэлектризованность, которая задирает и движет к переменам, к новому, к борьбе и преодолению. Уже давно после работы ни на что не остается сил.

Злата стала замечать, что давно перестала читать как художественную литературу, так и медицинскую, а ведь раньше всегда в любую поездку брала книгу. Теперь хватает энергии, только чтобы полистать пальцем новостную ленту в социальных сетях своего смартфона. Это превратилось в какую-то болезнь, она брала телефон каждую свободную минуту, даже тогда, когда знала, что никто не мог написать, а новостная лента не успела обновиться, потому что только что вся была просмотрена. Когда появился «Тик-ток», принципиально его не устанавливала, понимая, что и он превратится в зависимость, но тик-ток пришел к ней сам — «ВКонтакте» стал заполняться видеосиками: смешными или просто претендующими на это, тупыми, трогательными, красивыми, бессмысленными или, наоборот, с претензией на глубокомысленность. И эти видеосики превратились в новую заразу, усилив ее зависимость от смартфона, новостей в телеграме и соцсетях.

Со временем Злата начала догадываться, почему так подседа на все это: видеосики отключали ее мозг от проблем, а разношерстная галерея мира, уместившаяся в ее руке, давала ощущение новизны, разбавляя унылую рутину, из которой состояла ее жизнь уже многие годы. Она вспоминала своего отца, который приходил с работы, садился в кресло, включал телевизор и набивал брюхо, пялясь в экран с бессмысленным выражением лица, жевал и листал каналы, а Злата, тогда еще совсем маленькая девочка, пыталась привлечь его внимание, подойти и приласкаться, но он сидел отстраненный

и холодный, проглоченный телевизором. Как-то раз Злата намеренно разбила тарелку, а все для того, чтобы отец обратил на нее внимание — пусть отругал, но все же крики ей казались тогда лучше, чем равнодушие. Потом, когда Злате исполнилось семнадцать, а средней Ларе было тринадцать, младшей Еве — десять, он исчез из их жизни, оставив трех дочек на мать. Сейчас она вспомнила отца, потому что его паралитическое состояние перед телевизором стало ей понятным, она уже который год сама находилась в нем, только у нее роль телевизионных каналов выполняли соцсети. И каждый раз, когда Злата представляла себя со стороны в ту минуту, когда, с отупевшим от рутины мозгом, уставшая и опустошенная, в очередной раз листала новостную ленту, она одергивала себя и убирала смартфон в карман, осознав: как две капли воды походит сейчас на своего почти неодушевленного отца из детства...

Входная дверь снова зазвенела, Злата пошла к окошку, вспомнив, что до сих пор не проверила терминал, даже не посмотрела — заряжен он или нет. Последнее время он частенько барахлил.

В окошко заглянул хорошо одетый молодой человек, внешность которого бросалась в глаза: лицо казалось слишком приторным для мужчины, всего как бы в избытке, хотя вид у него был невыспавшимся и уставшим.

— Здравствуйте, можно большую коробку презервативов и виагру.

Назвав виагру, он сразу отвел глаза.

— Вам двенадцать штук? А какие?

— Вот эти, — парень ткнул пальцем в одну из коробок на витрине.

Злата все сложила в маленький пакетик, взяла терминал, он был выключен, поэтому пришлось немного подождать. Она видела, что парень нервничал: переминался с ноги на ногу, звякал ключами в кармане куртки, посматривал на часы. Злата пробила покупки, положила чек в пакетик и протянула в окошко, парень нетерпеливо взял и быстрым шагом вышел из аптеки, а девушка смотрела ему вслед и думала о тех женщинах, которые настолько несчастны, что покупают себе на несколько часов вот таких вот приторных красавчиков. Злата попробовала представить себя в такой ситуации, но у нее этого не получилось.

«Упаси Боже», — подумала она.

Девушка только хотела вернуться к себе в закуток, чтобы посидеть, но в двери влетел еще один покупатель. Возбужденный и встревоженный молодой человек, судя по внешности, большую часть жизни проживший с бабушкой, которая, наверное, недавно умерла, и он остался один, по крайней мере, вид у него был потерянный и бесхозный. Через смешные круглые очки проглядывали шальные, немного даже безумные глаза, а в благопристойной холености проскальзывала пугающая маниакальность, застегнутая на все пуговицы. Это тот самый тип, к которым обращаются «молодой человек» лет до пятидесяти.

— Здравствуйте, девушка, мне кажется, я серьезно болен. Мне нужно лекарство.

— Здравствуйте, какие у вас симптомы? Вообще, если это серьезно, то вам лучше пойти сначала к врачу...

— Нет-нет, не может идти и речи. Я не доверяю врачам. Вот посмотрите.

Не очень молодой «молодой человек» протянул к оконцу свой смартфон, чтобы показать какую-то фотографию. Когда Злата пригляделась, сначала не поняла, что ей показывают, видела — что-то омерзительное, но что именно, не понимала и только через некоторое время догадалась, что это фотография человеческого дерьма.

— Это мои экскременты, вы видите? Они же не нормальные, вы только посмотрите на них.

Злата с трудом сдерживалась, чтобы не обматерить покупателя. Она сделала глубокий вдох и сжала кулаки. Девушка по опыту знала: главное — перетерпеть хотя бы первые секунд десять, потом будет проще. Если она сейчас сорвется, то ее уже не остановить, тогда соберет все свое раздражение, всю неудовлетворенность жизнью и выплеснет в лицо этому идиоту, а он в свою очередь начнет строчить негативные отзывы в Интернете и требовать жалобную книгу. Руководитель их аптечной сети следил за этим и непременно уволил бы фармацевта, который позволяет себе агрессию по отношению к покупателям, а потерять работу значило потерять квартиру, за которую приходилось платить тридцать пять тысяч в месяц. Потерять квартиру значило, что придется вернуться в Тулу. Впрочем, иногда ей казалось, что так было бы лучше. Злата знала, что мать не очень хорошо себя чувствует в последнее время, а две ее младших сестры так же, как и Злата, тоже устроились в Москве, поэтому мать чаще всего одна, разве что временами средняя сестра Лара привозит ей своего сына, и женщина отвлекается от одиночества хлопотами с внуком.

— Девушка, вы вообще со мной или нет? Я вам говорю, мне нужна помощь, прошу дать мне какое-нибудь сильное лекарство, а вы заливаете... о чем вы вообще думаете? Вы когда-нибудь видели такой кал?! Это же не нормально. Там что-то зеленое и красное. Так не должно быть.

Злату сильно напрягало, что покупатель до сих пор держал перед ней смартфон с фотографией своих экскрементов, но все-таки сумела выдать из себя вежливую интонацию, всеми силами стараясь не смотреть на фото.

— Я не имею права вам ничего советовать, вам необходимо серьезно обследоваться, назначение может дать только лечащий врач. Запишитесь к терапевту.

— Вы меня вообще слушаете, девушка, я же вам говорю, что не доверяю врачам! В платных поликлиниках только и думают о том, как бы залезть человеку в карман.

— Запишитесь в бесплатную, идите по полису.

— В бесплатной очереди, да и врачи не самые лучшие.

— Вы их недооцениваете, попробуйте, вполне возможно, вы ошибаетесь.

— Вы думаете?

— Я в этом абсолютно уверена!

Покупатель наконец-то убрал от окошка руку со смартфоном. Фотография дерьма исчезла в кармане молодого человека.

— Ну хорошо, так уж и быть, я попробую. Всего доброго.

— Прощайте.

Услышав нетипичное «прощайте», покупатель встревоженно посмотрел на фармацевта, но не увидев в лице Златы никакого подвоха, вежливо кивнул и вышел на улицу. Девушка посмотрела на часы.

Захотелось разбить голову о стекло витрины и порезать себе запястья, только бы поскорее закончить рабочий день.

Лара работала официанткой, пыталась накопить на квартиру — больше всего на свете боялась, что придется возвращаться в сирый несчастный мир ее прошлого, в Тулу, где из старых одноклассников остались только ленивые да те, кто спился. Москва давала надежду на красивую жизнь, она дарила мечту, по крайней мере, ощущение ее щекотно-пленительного присутствия. Несчастливое детство, ощущение недолюбленности со стороны родителей усиливало негатив, который Лара испытывала, когда оглядывалась в свое неблагоустроенное детство. Ребенком мечтавшая о коньках, роликах, велосипеде — девочка не имела ничего этого. Жажущая любви, помнила только вечно раздраженную мать, издерганную бытовыми хлопотами, и отстраненного, вечно

уставшего отца, который работал в двух местах, чтобы прокормить их четверых — мама занималась детьми, а отец тащил на себе все их расходы.

Переехав в Москву, получила, по крайней мере, иллюзию благополучия и всего того, чего так не хватало в детстве и юности. Все шло своим чередом, большой красивый город давал много приятных поводов думать, что она вполне счастлива, хотя каждый раз, когда она оставалась наедине с собой, эта иллюзия моментально рассеивалась. Работа — съёмная квартирка — торговые центры — роскошные оживлённые улицы, полные красивых и хорошо одетых людей, — дорогие машины — комфорт — респектабельность. Лара с большим удовольствием покупала себе дорогую одежду, не жалела средств на косметологов и салоны красоты, во-первых, потому что хотела быть частью этого шикарного мира, а во-вторых, пыталась наверстать то, чего так недоставало в прошлом. Работа отнимала все свободное время и практически все ее душевные силы, оставались какие-то жалкие крохи, которые не знаешь, куда деть, настолько их ущербно мало — то ли выпить в клубе или познакомиться с кем-нибудь от скуки, то ли просто побыть дома и прийти в себя, восстановиться от беспощадной суеты, отдохнуть от интриг, сплетен, ненависти, зависти, нескончаемой толчеи муравейника, окружавшего ее на работе в ресторане.

Как-то раз ехала после смены на такси. Водитель-мигрант пялился на нее через зеркало заднего вида — даже когда Лара смотрела в окно, чувствовала на себе его тяжёлый взгляд. В какой-то момент начала переживать, но потом успокоила себя тем, что заказывала машину через приложение и все его данные есть в компании. Специально разблокировала смартфон, вошла в приложение, увидела какого-то «Шахзода», снова заблокировала. Когда подъехали к дому, вышла из машины. Была уже почти полночь, сегодня она работала в день, смена закончилась поздно. Двинулась к подъезду, думая о том, на сколько завтра ставить будильник, сколько часов останется на сон после хлопот с ужином, мытьем посуды, душем, стиркой одежды... Приложила ключ от домофона к индикатору и открыла дверь, вошла в подъезд и сразу услышала, как за ней следом кто-то побежал. Лара оглянулась и увидела, как в подъезд ворвался тот самый таксист, который только что ее привез. Он сразу накинулся, приставил к лицу нож и начал раздевать. Увлеченный ее одеждой и телом, опустил нож, и Лара почувствовала, как с нее спадает первоначальное оцепенение. Начала кричать и вырываться, но мигрант опять подставил нож к лицу и даже надавил. Кожей почувствовала холодное лезвие.

Она стояла в темном подъезде и просто ждала, когда все это закончится, смотрела на обросшее смуглое лицо с тупым звериным взглядом. Натягивая на себя штаны, стал ухмыляться, осклабился, убрал нож. Еще раз провел рукой по обнаженному телу Лары.

— Ты одета как проститутка. Ты это заслужил. Наши женщина так не одета.

Таксист вышел из подъезда, а Лара скатилась по стене, шершавая штукатурка царапала голую спину. Несколько минут сидела без движения, раздетая, приплюснутая, пережеванная, но стала замерзать. Нашла на полу свою майку, начала отирать с себя сперму и только сейчас поняла, что она внутри. Оделась, поднялась в квартиру и побежала в душ, чтобы смыть с себя все: это первое, что хотелось сделать — если бы могла содрать с себя кожу, то начала бы с этого. С остервенением терла себя мочалкой и рыдала.

После душа взяла свой мобильник, набрала полицию, нажала вызов, но потом сделала сброс. Поняла, что не хочет рассказывать о своем позоре чужим посторонним людям. И никакого толку в том, что она знает имя своего насильника, знает, как его найти — все это не имеет никакого значения.

Просидела перед окном до самого утра, кусая губы, выламывая свои пальцы. Наутро поняла, что у нее ни на что нет сил. Она перестала выходить на работу, несколько дней не брала трубку, просто вывалилась из реальности. Первый день даже ничего не ела, только пила воду. Потом отключилась, проспала несколько часов, не понимая, день сейчас или ночь, — ушла от этого мира, построив между собой и им баррикаду из занавешенных штор, закрытой двери, выключенного смартфона.

Когда закончились продукты, все-таки пришлось собраться и выйти на улицу, доковылять до магазина, оборвав почти недельную блокаду. Через месяц Лара поняла, что беременна. Не могла найти в себе сил, чтобы принять решение — не оставлять ребенка или рожать, не могла найти в себе сил даже для того, чтобы просто каждый день совершать обычные обряды утреннего и вечернего туалета, следить за собой и квартирой. Окружающая реальность напомнила о себе в лице рассерженной хозяйки, которая не получила в нужный срок оплату за квартиру. Понимание того, что необходимо жить и зарабатывать деньги, вынудило позвонить в ресторан менеджеру и попросить сделать расчет, чтобы получить за отработанные смены. Для Лары было совершенно ясно, что работать официанткой она больше не сможет, просто больше не в состоянии разговаривать с людьми, поэтому ей нужна работа, где она могла бы все время молчать. Объяснить менеджеру, куда она пропала, не смогла, просто сказала, что случилась беда, а говорить о подробностях не готова. Впрочем, по голосу Лары менеджер и так поняла многое.

Девушку рассчитали, с учетом того, что она накопила, вполне хватало на несколько месяцев жизни. Вернувшись из бухгалтерии, Лара разложила полученные деньги, проверила баланс накопительного счета и задумалась. Все время, пока заточила себя в четырех стенах, пыталась понять, что делать дальше — оставлять ребенка или нет? Но решение никак не вызревало, а вот сейчас поймала себя на мысли, что впервые подумала о себе во множественном числе, о том, что скоро будет не одна, что нужны деньги, дабы длительное время быть максимально независимой и самодостаточной и в первое время после родов обеспечить себя и ребенка. Как ни крути, а больше надеяться не на кого, надо действовать. Оставалось найти для работы место, где можно будет не разговаривать с людьми — подсказка пришла сама собой, когда ехала в метро.

Спускаясь на эскалаторе, увидела женщину-машиниста, сидевшую за стеклом в своей кабинке: безмолвная и отстраненная — она сидела весь день и просто смотрела на эскалатор, на людей. Лара поняла, что это то самое, что ей одно сейчас под силу — просто смотреть и молчать. Она нашла в Интернете нужную информацию и достаточно быстро собрала все необходимые документы. Кадровик несколько раз с настороженным сосредоточением переспросил, почему она хочет этим заниматься, на что Лара несколько раз пролепетала примерно одно и то же, но всякий раз видела тупое непроницаемое непонимание. Девушке казалось, что она разговаривает сама с собой.

— У меня сейчас очень сильная потребность в уединении и молчании.

— Но... но на этой работе нужно много говорить. Вам необходимо следить за происходящим на эскалаторе и чуть что делать замечания в громкоговоритель.

— Я понимаю, но это примерно в тысячу раз меньше, чем мне было нужно разговаривать, когда я работала официанткой.

— У вас все в порядке?

— Да все как у всех в целом, а почему вы спрашиваете?

— Просто ваши запросы менястораживают. Я за десять лет работы кадровиком впервые слышу, чтобы на должность машиниста эскалатора устраивались из-за потребности мало говорить.

— Все бывает в первый раз.

— Это точно единственная причина?

— Боже мой, да! Если бы я вам сказала, что мне нужна эта зарплата или социальный пакет, вам было бы спокойнее? Но проблема в том, что официанткой я зарабатывала в два раза больше, а социальный пакет мне не нужен. Я просто не хочу ни с кем разговаривать, неужели это так трудно понять?

— Но вам придется разговаривать. Вам нужно будет еще отучиться на предварительных обучающих курсах.

— Я знаю и готова к этому.

— Не понимаю.

— Боже мой, просто примите документы и отправьте меня на эти курсы, неужели это так сложно?

Кадровик еще немного помялся, поерзал, похмурился, потом все-таки выдал из себя:

— Ну хорошо, но я все равно не понимаю, все это очень странно.

Уже через несколько недель Лара сидела в кабине эскалатора, молча наблюдая за людскими потоками: один весь день поднимался наверх, второй спускался вниз. И так без конца на протяжении всей смены — людские реки, настоящий водопад. Как маятник или песочные часы: туда-сюда, туда-сюда. И никому не было никакого дела до нее, все были погружены в себя, в свой смартфон или в друг друга, если на эскалаторе оказывалась пара. Иногда попадались семьи с детьми, но это на выходные, а в рабочие дни на эскалаторе ездили практически одни только одиночки: раздраженные, уставшие, сонные — студенты, школьники, взрослые, преклонного возраста. В основном безэмоциональная серая людская масса, эмоции встречались редко, поэтому всегда забывались. Так, Ларе запомнилась одна девушка, она впервые обратила на себя ее внимание тем, что была очень счастлива. Восторженные светящиеся глаза, рвущаяся наружу улыбка не могли остаться незамеченными в гуще невыразительной равнодушной толпы. Через несколько дней Лара увидела эту девушку в сопровождении мужчины — по тому, как она на него смотрела во время разговора, поняла, что он тот самый источник ее тогдашнего сияния. А еще через месяц девушка вечером ехала одна, вся в слезах, скрестив руки.

Наблюдая за людским потоком, Лара иногда как будто забывала о своей жизни. Она растворялась в людях, то пыталась отгадать профессию некоторых из них, то старалась проникнуть в их житейские драмы — тех, кто обращал на себя внимание, а чем дольше она работала, тем больше «постоянщиков» появлялось. Одни каждое утро поднимались на ее эскалаторе, а потом под вечер спускались: эти работали или учились где-то рядом, другие, наоборот, спускались по утрам, а вечером поднимались — эти здесь жили. В общем, знакомых лиц становилось все больше. Безликая людская масса превращалась в нечто более осязаемое, понятное, почти родственное.

Через несколько месяцев, когда беременность Лары стала очевидна, ее вызвали к руководителю. Перед ней стояла глубоко несчастная, очень властная женщина. Несчастье, стервозность и окончательно покинувшая ее молодость — главное, что читалось в лице начальницы.

— Вы нас обманули!

— Что вы имеете в виду?

— Вы скрыли от нас свою беременность!

— Я ничего не скрывала, меня спрашивали только про семейное положение, но про беременность никто никаких вопросов не задавал.

— Ну, вопросы — это формальность. Об этом я отдельно еще пообщаюсь с нашим кадровиком, но конкретно сейчас речь идет о вашей хитрости.

— Какой хитрости?

— Решили устроиться по-тихой, поработать пару месяцев, а потом целый год получать от нас декретные. Далеко пойдете. А с виду и не скажешь, такая скромница на первый взгляд. Небось специально ноги раздвинула, чтобы декретные получить и побездельничать пару лет?

— Закройте свой поганый рот! Слышите? Рот свой поганый закройте и не смейте меня оскорблять!

— Ага, вот так заговорила. А я тебя сейчас просто уволю за несоблюдение субординации, вот и все. Нам не нужны лживые работницы, которые, поработав только несколько месяцев, уже претендуют на декретные.

— Вы не сможете меня уволить, я скажу в соцзащите, что вы решили меня уволить после того, как узнали о моей беременности. А конфликт просто спровоцировали своими оскорблениями.

— Понаехало в столицу всякое дерьмо, сейчас возись с вами.

— Ой, прям сама будто москвичка коренная. Сама-то откуда приехала?

— Ты мне не тыкай, сопля зеленая, шалава! Где я родилась и выросла, тебя не касается. Я двадцать лет своей жизни отдала метрополитену, а не требовала декретных через несколько месяцев после устройства на работу.

— Я ничего не требовала, вы меня сами вызвали. И мне нравится эта работа. Мне нужны только мои минимальные сто сорок дней, полагающиеся законом, после этого я вернусь на свою должность.

Руководительница помолчала, мысленно что-то взвешивая.

— Ну хорошо, пусть так. Поживем — увидим.

Лара родила мальчика. Правда, врачей с самого начала что-то смутило в состоянии младенца. Они заглядывали ему в глаза, что-то слушали, высматривали, будто в нем притаилась какая-то угроза. Со временем стало ясно, что мальчик родился с синдромом Дауна. Поначалу Лара не поверила, растерялась. Новость стала ударом. Во время беременности невольно нафантазировала себе то, какой будет жизнь ее будущего ребенка, и вот все эти фантазии, планы, мечты пошли прахом. Переболев новым фактом несколько дней и ночей, как-то утром проснулась с кристально чистым и ясным состоянием духа. Голова и сердце были свободны, Лара больше не чувствовала душевной боли, она просто поняла, что надо жить дальше, оформила полагающуюся в связи с этим пенсию — чуть больше восьми тысяч — и еще ежемесячную дополнительную выплату. Из-за того, что Лара жила на съемной квартире, льготы за коммунальные услуги оформила по месту прописки.

Как и обещала своему руководителю, вернулась на свое место и продолжила работать. Иногда оставляла ребенка в социальном центре, иногда отвозила матери, которая не сегодня-завтра могла совершенно спятить от одиночества. На пятый год после развода с отцом мать завела первую кошку, потом еще двух. Если бы сейчас не подоспел внук, в скором времени мама непременно превратила бы свою квартиру в кошачью ферму. Так что Ванюше она всегда была рада, хотя Лара сама сильно привязалась к ребенку и старалась не злоупотреблять материнской помощью. Договорилась на работе, что ей сделают график две смены — через две, это всегда давало возможность маневра.

С появлением Вани Лара стала еще более замкнутой и закрытой, навязчивые распросы об отце ребенка выводили из равновесия и растравливали рану, которую она с таким трудом зализала. Даже матери и сестрам Лара не рассказала правды о том, как именно был зачат мальчик. Недуг Вани стал причиной того, что материнская лю-

бовь Лары стала более болезненной и изломанной. Наблюдая за ним, чувствовала: сын наполнил ее жизнь смыслом. Теперь, сидя в кабинете машиниста, Лара смотрела на людей по-новому. Как и раньше, она боялась всех этих людей, чувствуя в них угрозу, как и раньше, ей ни с кем не хотелось разговаривать, она словно дала обет молчания, поэтому всякий раз при необходимости разговаривать с людьми делала это как будто из одолжения, в силу неприятной необходимости, поэтому здесь все осталось прежним, однако если раньше толпа вызывала в ней либо равнодушие, либо раздражение, то сейчас, наблюдая за движением людских потоков, она чувствовала сострадание, потому что, как ей показалось, поняла что-то очень важное.

Самая младшая из сестер Ева всегда отличалась особенным жизнелюбием. В школе ее считали даже инфантильной, веселой пустышкой, которая заигрывала с мальчиками и без конца хохотала, но на первом курсе университета она по-настоящему полюбила, и это ее изменило. Избранник оказался женатым, имел двоих детей, так что из большого эмоционального чуда их отношения быстро скатились в самый тривиальный адюльтер. Мечтая стать его постоянной спутницей, другом, женой, матерью его детей, Ева все чаще ощущала и сознавала себя лишь как его любовницу. Полюбив в семнадцать, моментально переросла своих сверстников и возносила глаза к потолку всякий раз, когда слышала пустопорожний треп одноклассников, что невольно из общительной и веселой тусовщицы превратило ее в очень одинокого и молчаливого человека. Она с головой зарылась в книги, потому что художественная литература и психология, книги по философии и искусству стали единственным пристанищем в ее новом преображенном состоянии.

Роман длился несколько лет, но на пятом курсе, защитив диплом и оглянувшись по сторонам, а главное, убедившись, что ее возлюбленный не готов изменить свою жизнь, Ева порвала с ним, поняв, что роль пожизненной любовницы ей совсем не к лицу. Желая кардинально перечеркнуть все свои связи с прошлым, девушка решила перебраться из Тулы в Москву, где поступила на второе высшее и стала работать частным психологом. Круг клиентов ширился, а собственная личная жизнь все больше обрастала паутиной, заселялась демонами, лешими и прочей нечистой силой, так что в какой-то момент, когда с Евой начинал знакомиться очередной потенциальный ухажер, она заранее обдумывала, что ей приготовить на этот раз: осинового кол, распятие или святую воду. Возможно, познав, насколько сильно умеет она любить и на какие вихри способна в отношениях, она считала ущербным убожеством то, что предлагало ей большинство мужчин, не говоря уже об интеллектуальном уровне тех кавалеров, которые на нее налипали на московских улицах и в метро. Постепенно Ева поймала себя на том, что самым важным для нее является профессиональная успешность и самореализация, и с головой ушла в своих клиентов, основная масса которых были женщины.

Так длилось несколько лет. Окрыленная сознанием своей миссии, пониманием того, что способна помочь многим девушкам постичь свое женское «я» и преодолеть все трудности на пути к собственному счастью, Ева сама становилась от каждого своего успеха чуточку счастливее. Но чем больше она разгребала чужие депрессии и проблемы, чем глубже проваливалась в сторонние дразги, тем более с годами чувствовала себя опустошенной. Порой ей казалось, что она превысила некий лимит, а источник ее профессионального вдохновения попросту пересох, он остался где-то там в юности, между прошлым возлюбленным и прочитанными книгами, в настоящем же ничего, кроме нескончаемой профессиональной рутины и тупых гориллоподобных ухажеров, у нее не было.

В среднем рабочий день Евы происходил примерно так:

— Вы знаете, Ева, иногда мне кажется, что я просто не достойна любви, не достойна счастья... я не достойна жизни.

— Послушайте, Надя, ну что вы такое говорите? Посмотрите на себя, вы уникальная, замечательная, красивая девушка, вам просто в идеале нужно сбросить хотя бы десять-пятнадцать килограммов, и в вашей жизни обязательно появится новый мужчина.

— Но разве это справедливо? Почему я не могу найти мужчину, который любил бы прежде всего мою душу...

— Будьте честны с собой, любому человеку приятнее начать погружаться в другого человека, в потенциального партнера, если он физически привлекателен, разве не так? Разве вы прежде всего обращаете внимание на нищих крокодилов? У вас же тоже есть определенные запросы к внешности и обеспеченности мужчины?

— Да, это так.

— А почему вы лишаете права мужчин иметь те же притязания?

— Я не знаю, я ничего не понимаю... что со мной не так, почему он меня отверг? Можно я ему позвоню?

— Успокойтесь, пожалуйста, Надя. Во-первых, я не имею права давать вам советы, это неэтично, вы сами должны принимать решения, моя задача как психолога, не вмешиваясь в вашу жизнь, просто помочь вам полнее раскрыть свой собственный потенциал, устранить из опыта все деструктивное и блокирующее, чтобы вы стали свободной и гармоничной, после чего вам самой уже будет проще принимать более правильные самостоятельные решения...

— Да, я это понимаю, но я не понимаю, почему мне нужно похудеть на целых пятнадцать килограммов? Почему недостаточно хотя бы четырех? Вчера я даже влезла в свои старые джинсы.

— Здравствуйте, Ева.

— Здравствуйте, Мария.

— Этот пидорас опять завел себя какую-то шлюху.

— Послушайте, Мария, а вы не думали развестись?

— Вы шутите? У него зарплата, как три моих. Причем это неофициальный доход, я же не смогу даже нормальные алименты от него получать, официально он лох. Я хотела сказать: практически ничего не зарабатывает.

— Но вы же понимаете, что вы сама, а главное, ваши дети живут в самом настоящем аду. Все измены вашего мужа, все ваши скандалы — все это создает соответствующую атмосферу и энергетику вашего дома. Ваши отношения пропитаны ядом, и именно этим ядом дышат ваши дети. Здесь и сейчас они получают травмы, которые будут проявлять себя всю последующую их жизнь, чаще всего несчастливые и деструктивные, болезненные отношения родителей бессознательно копируют ваши дети, и они невольно будут их моделировать в своей собственной жизни.

— Вы хотите сказать, что моя дочка найдет себе такого же пидораса, как ее отец, а сын станет таким же козлом?

— Это не исключено.

— Мать Божья, и что мне сейчас делать? Развестись и стать нищей, пустить детей по миру?

— Вам необходимо найти компромиссы. Вы же можете договориться с мужем об определенных правилах игры. Раз уж вам супруг так часто изменяет, а уйти от него вы не можете, попробуйте предложить ему определенную свободу. Это будет своего рода брак ради детей, достаточно распространенная сейчас история. Он вам будет

выдавать на расходы, связанные с воспитанием, обучением и обеспечением детей, а вы в свою очередь разрешите ему делать все что вздумается. Так, по крайней мере, вы уберете из вашего брака очаг напряжения и постоянных скандалов, которые калечат психику ваших детей.

— По-вашему я должна спокойно наблюдать за тем, как эта скотина развлекается со своими девками?

— Нет, по-моему, вы должны развестись, но раз разводиться вы не хотите, то из двух зол остается только это. Вы можете формально сохранить свой брак, но жить раздельно, обговорив определенные финансовые условия, а можете даже продолжать жить в одной квартире, решать вам, главное, чтобы ваши схватки прекратились.

— Нет, да я лучше яйца отрежу этому мудаку, чем разрешу ему как ни в чем не было тратить деньги на своих потаскушек! Только через мой труп.

— Добрый вечер, Ева.

— Здравствуйте, Анастасия.

— Недавно я опять пыталась покончить с собой, приготовила снотворное, написала прощальное письмо своим близким, но так и не смогла проглотить таблетки.

— Почему вы хотите убить себя?

— Этот мир так жесток, а жизнь так бессмысленна...

— Так сделайте этот мир лучше, в чем проблема? Сделайте это через себя, через свое дело, через тех детей, которых вы можете иметь, воспитывать. Разве это не доказывает, что жизнь в действительности полна смыслов?

— Да, вы это уже говорили, но я этого не чувствую. Мне кажется, что лучше умереть.

— Но почему?

— Не знаю, смерть так загадочна. А жизнь так обыденна.

— Господи, да присмотритесь к жизни внимательнее. Вы можете путешествовать, заниматься спортом, фотографией, коллекционировать виниловые пластинки, изучать искусство, философию, историю, заниматься благотворительностью... Посмотрите вокруг: архитектура, живопись, кино, образование, фотография, альпинизм, дайвинг, парашютный или конный спорт, отношения, люди, дельфины — вы только вдумайтесь, как огромен и прекрасен окружающий нас мир, какая бездна возможностей в нем таится. Посмотрите, как много в нем красоты, какой вам еще загадочности недостает? Почему вы фокусируетесь только на плохом? Когда вы в последний раз вообще ездили куда-нибудь?

— Год назад я отдыхала в Турции.

— Боже мой, но почему Турция? Неужели на карте не нашлось более интересных мест? Если даже одну Россию взять: карельская гора Воттоваара, поразительное место, просто необыкновенно. Или Кольский полуостров с его Хибинами и загадочными, очень мистическим озерами, с северным сиянием. А уникальный горный Алтай? Потрясающие Чукотка, Камчатка, Сахалин, Курилы, Байкал, плато Путорана, Хакасия, Тыва, Южный и Полярный Урал, Кавказ, Дальний Восток, Куршская коса, Поволжье... Я могу перечислять бесконечно, и в каждом уголке целая прорва безумно красивых и интересных мест, а если вы посмотрите на карту земного шара, тут и вовсе голова кругом пойдет. Неужели вам не интересно все это неисчерпаемо новое? Европа, Грузия, Узбекистан, Новая Зеландия, Япония, Южная Америка, Исландия, Южная Корея, Китай... С ума просто сойти, сколько вокруг нас древних культур, сколько природных красот!

— Не знаю, в Турции все понятно и просто, все включено по питанию, цены низкие, море, бассейн, туда-сюда.

— Там же, кроме пещерных монастырей и воздушных шаров Кападокии, вообще нечего делать. Еще руины в Эфесе — все. Ну Стамбул один раз посмотреть.

— Это уже третья поездка в Турцию, но я не была ни в Кападокии, ни в Эфесе, ни в Стамбуле. Обычно я не выхожу дальше пляжа при отеле, где остановилась. Иногда даже хватает бассейна при отеле.

— Но вы же понимаете, как необъятно огромен окружающий вас мир? Неужели вам неинтересно увидеть как можно больше?

— Еще больше похотливых турок — вот все, что я увидела бы в этих ваших новых местах. Мне и в отеле их хватало, с трудом отбиваюсь каждый раз, как приезжаю.

— Проблема в том, что турки считают русских девушек легкодоступными, потому что многие россиянки приезжают туда, чтобы снять стрессы, завести курортный роман и выпустить весь накопившийся в их жизни негатив через подобную интрижку... А потом возвращаются к своей сложной жизни, к ее драмам и проблемам, ограничениям, нормам, правилам и так далее. А турки думают, что если к ним в страну приезжают расслабиться и отдохнуть, позволяя иногда лишнее, то это значит, что русские девушки всегда так живут. Если бы турки увидели, как отдыхают турецкие женщины где-нибудь на чужбине, они бы сильно удивились. Я уже не говорю о том, что турки действительно слишком похотливы, чтобы видеть больше того, что они хотят видеть.

— Я никогда об этом не думала.

— Увы, но это так. Поэтому мы все для них «Наташи», синоним слову «проститутка» или «девушка легкого поведения»... Это как если бы вы жили в сауне или в кабаке и к вам ходили бы расслабляться тысячи людей... Вам бы тогда все люди казались пьяницами и нудистами. Так что турки живут в сауне и кабаке, поэтому им кажется, что все приезжающие к ним женщины развратны, а все русские мужчины — алкоголики.

— Больше не поеду в Турцию.

— Послушайте, дело вовсе не в Турции, вам нужно просто расширить границы своего фокуса. Вы на мир смотрите через очень маленькое скукоженное оконце, и в этом вся проблема.

— Кажется, я вас поняла, Ева. В следующий раз я поеду в Египет или Тайланд, там тоже все включено и рядом с отелем всегда есть бассейн и огороженный пляж... Я думаю, уже на следующий месяц запланирую отпуск.

Ева откинулась на кресле, закрыла глаза и стала усиленно тереть свою переносицу.

После очередного такого рабочего дня Ева поняла, что ей нужно срочно выплеснуть из себя все то безысходное, чем она надыхалась за несколько лет своей профессиональной деятельности. Первое, что пришло в голову — обратиться к другому психологу. Есть же выражение, что у каждого психолога должен быть свой психолог, но Ева наперед знала все, что ей скажут другие специалисты: они будут говорить ее же словами, использовать те же термины, что и она. Как ни крути, а все психологи, по крайней мере серьезные, а не диванные и инстаграмные, черпают воду из одного колодца, осваивают профессию, опираясь на одну научную литературу, поэтому обратиться за помощью к коллеге показалось ей не самым перспективным. Обратиться к инстаграмному идиоту-коучеру, считающему себя психологом, тем более невозможно, потому что уровень его компетенции настолько анекдотично дилетантский, что она едва ли сдержится от рукоприкладства и плевков в физиономию, когда этот коучер откроет свой рот и начнет ей вещать заповеди успеха и способы стать счастливой. Своих сестер Ева тоже сразу отбросила, потому что не хотела вываливать на их головы переполнявший ее негатив.

Ева усиленно думала, и вдруг ей пришла в голову совершенно дикая и странная мысль. Она нашла в Интернете индивидуалку и вызвала ее к себе домой. Проститутка сразу написала в мессенджере: «Анальный секс не рассматривается». Ева ответила: «Секс меня не интересует, я девушка, мне просто нужно с кем-нибудь поговорить». Индивидуалка: «Я гетеро, если нужна бисексуалка, могу дать контакты знакомой». Ева: «Да нет же, я говорю, что секс меня не интересует. Мне просто не с кем поговорить». Индивидуалка: «А, я поняла. Оплата почасовая, 3 т. р.». Ева: «Да, хорошо». Индивидуалка: «Я тогда за винишком заеду по пути, тебе красное или белое?». Ева: «Красное сухое». Индивидуалка: «Ок».

Через два часа две пьяные лохматые бабы сидели на полу, допивая третью бутылку вина и хохотали на всю квартиру:

— Да ладно, так и сказала?

— Но, прикинь.

— Вот овца. А че ей вообще еще надо от жизни? Есть же все, че ее не устраивает? Ребенок, квартира, мужик обеспечивает.

— Да вот поди спроси ее.

— Дура. Ты, если что, ко мне ее отправляй смело, я ей правду-матку скажу, все как есть... Вправлю мозги. Вообще, мне кажется, из меня бы бомбический психолог получился. Хочешь, я тебя как-нибудь попробую заменить?

— Ага, а я тебя? — сказала Ева с улыбкой.

— Ну а че? Нет, если хочешь, конечно.

— Да Боже упаси, что ты, нет...

Через два часа душепознавательной беседы Евин мобильник зазвонил, она взяла трубку. Увидев, что звонит Лара, сильно удивилась. Во-первых, уже почти ночь, а во-вторых, тихоня Лара звонила крайне редко, она в принципе ни с кем не любила разговаривать.

— Да, Ларочка, привет. Что случилось?

Ева почувствовала, как хмель моментально улетучился, она сразу протрезвела.

— Хорошо, поняла, завтра же утром возьму билет на ближайший рейс.

Сестры сидели в родительской двушке вокруг больной матери и не могли вспомнить, когда в последний раз вот так вот собирались вместе. Неделю назад Лара привезла сына в Тулу и застала маму почти в предсмертном состоянии. Благо Лара приехала своевременно, потому что мама была в полубессознательном бреду и не только не могла вызвать «скорую», но едва ли могла осознать, что с ней. Ее облепили кошки, так что женщина походила на дрессировщицу. Комната провоняла мочой, кошачьей и человеческой. Лара так и не поняла, какое время мать провела в таком беспомощном состоянии, а сама мама потом никак не могла этого вспомнить. После все-таки объяснила, что у нее появились сильная слабость и головная боль. Она решила немного подремать, подумала, что от этого ей станет лучше, затем начались какие-то провалы.

Застав маму в самом жалком положении, Лара сразу вызвала «скорую» и стала приводить в порядок как ее, так и квартиру: стирать одежду, ковры, постельное белье. Врачи диагностировали инфаркт и увезли женщину в больницу, а девушка стала вызванивать сестер.

Злата смогла вырваться с работы только к тому времени, когда маму уже прооперировали и выписали — она привезла с собой грудку лекарств и витаминов, будто пытаясь компенсировать свое опоздание. Ева приехала практически сразу и все время отчитывала маму за легкомысленное отношение к себе и своему здоровью, а молчаливая Лара прибирала квартиру, мыла полы, приготовила на всех ужин, покормила кошек, проветрила помещение и стала отирать материнское тело мыльной тряпкой, чтобы избежать пролежней. После операции и выписки женщина наконец находилась в кругу дочек, а не одних только котов.

Находясь подле матери, Лара и Злата с горем пополам, но все-таки оформили себе срочные отпуска, понимая, что нужно будет задержаться. Ева работала сама на себя, так что подобным вопросом она себя даже не занимала, просто отменила нескольких своих клиенток, понимая, что потеря этих денег — необходимая жертва. Сестры провели вместе почти неделю. Мама постепенно восстанавливалась, лучше выглядела, бодрее разговаривала, что радовало дочек. Даже вернулся ее обычный пронизательный, вопрошающий взгляд, который будто бы говорил: «Ну? Что еще такого мне расскажешь, чего я не знаю?» Была в ее взгляде нотка дерзкой усмешки и самоуверенности, а вместе с тем и подлинный интерес к жизни ее дочерей, которых она хоть и знала как облупленных, но все же не переставала изучать.

Внук Ванечка играл в другой комнате, время от времени заходил к ним и дергал всех за рукава, мычал, звал за собой, хотел что-нибудь показать. Ему было уже девять, но он вел себя как двухлетний. Мать долго смотрела на своих дочерей, на внука. Трепала уши ползающим по ней котам, чувствуя, как по щекам заскользили слезы.

Три пары глаз уставились на нее. Никто не произносил ни слова. Только Ванечка продолжал копошиться, шебуршать и возиться с каким-то цветным кубиком.

— Не смотрите на меня так... Во всем виноват ваш отец.

Тут Ева опять начала раздражаться и снова стала воспитывать свою маму:

— Батюшки, он-то здесь при чем?! Нашла виноватого!

— Потому что у нас никогда не было нормальной семьи, вот и вы все не пойми как живете. Такие же несчастные и одинокие, как я.

Злата возмутилась:

— Мама, это не правда! Мы не несчастны. И не одиноки. Ева, скажи ей, ты же психолог, а не я.

Мать подняла перед собой руку, как будто защищалась.

— Ну уж нет, все, Ева, не надо твоих психических штучек, все мозги мне и так прожужжала.

— Мама, мы действительно нормально живем, перестань во всех проблемах и неудачах винить отца. Он как проклятый работал, чтобы нас содержать, и потом устал, сорвался и ушел.

— А я не пахала как проклятая на вас? А я не устала? Почему тогда не сорвалась и не ушла?

Тут заговорила молчаливая Лара:

— Потому что ты наша мама. Мама никогда не бросит своих детей, какие бы они ни были, что бы ни случилось.

Сестры и лежащая в постели мать посмотрели на Лару, на то, как Ваня дергал ее за рукав, как просился на руки — на выражение ее лица. И в эту минуту поняли: молчаливая Лара обладает каким-то высшим, почти священным знанием, которое открылось лишь ей, а им пока недоступно.

ДВА ПОКОЛЕНИЯ **Маленькая повесть**

Борис Михайлович Иванов происходил из потомственной чекистской семьи. Его отец Михаил Яковлевич служил в городе со времени образования Чрезвычайной комиссии Железным Феликсом, в чине подполковника уже в начале пятидесятых ушел на пенсию, удивляясь тому, что при Сталине ему, в отличие от многих сослуживцев из близкого окружения, удалось миновать «вышки», хотя по своей расстрельной должности он «находился на самом острие», как сам часто выражался. Михаил Яковлевич был тем редким примером чекиста, сумевшего служить при Дзержинском, при Менжинском, при Ягоде, Ежове и Берии. Уволился из органов при Абакумове, безболезненно и просто выйдя из этой страшной кровопролитной игры так, словно всю свою жизнь оттарабанил садовником в каком-нибудь захолустном санатории, а затем отправился на мирную и заслуженную пенсию.

Борис Михайлович вспоминал, как отец возвращался домой: сонный уже мальчик смотрел сквозь ночь, как сквозь складки траурной фаты, на белые, очень чистые руки отца — руки цвета зубного порошка и прокипяченной открахмаленной простыни. Поздно воротившийся со службы Михаил Яковлевич садился на край постели, чтобы немного побыть рядом с сыном. Эта ночная траурность тяжелым шелком драпировала все детство и юность Бориса Михайловича — то ли потому, что он родился очень поздно, когда отцу было сорок пять, а матери, умершей во время родов, сорок два, то ли это было связано с мрачной таинственностью, что окружала службу отца, почти не появлявшегося дома. Эта таинственность окутывала, делая весь его облик зловещим, почти демоническим. Взрослеющий Иванов-младший видел пугливый отсвет в черных расширенных зрачках родителей своих одноклассников, когда приходил к ним в гости или встречался с кем-то из них на улице; в зрачках учителей, опасавшихся ставить мальчику плохие отметки, даже спрашивать его, если он сам не поднимал руку.

Если отец возвращался пораньше, они ужинали вместе на тихой, роскошно обставленной кухне: дорогая резная мебель, бронзовые статуэтки и этюды, среди которых были оригиналы Ярошенко, Архипова, Мясоедова и Поленова... Не то чтобы отец Бориса любил русских передвижников, скорее наоборот: именно потому, что он ни черта не смыслил в живописи, его выбор коллекционера и пал на передвижников, которые в силу своей эстетической простоты были для него наиболее понятны. Он просто приложил руку к тому, до чего сумел дотянуться, — эти произведения, изъятые у арестованных и расстрелянных коллекционеров, давали Иванову-старшему ощущение принадлежности к представителям высшей знати, причем гордость собственной коллекцией несколько бы не возросла, если бы там оказались полотна Врубеля, Фешина, голландцев, экспрессионистов или постимпрессионистов. Отец Бориса не видел никакой разницы: будь то мастера эпохи Возрождения или художники-модернисты — ему было все едино.

Во время еды Иванов-старший разламывал хлеб на кусочки, потом либо бросал в суп, будто гренки, либо закидывал по одному в рот — необычная привычка забавляла мальчика, а затем невольно передалась и ему, хотя появилась в его семье лет сто пятьдесят назад как следствие нищеты, в которой жили предки. Прадеды обычно готовили тюрю или просто добавляли хлеб в жидкую похлебку, чтобы насытиться. Отец ел так, потому что в раннем детстве успел коснуться этой самой нищеты, а младший Иванов перенял ее, как и все вообще перенимают дети у родителей. Аномальная, нездоровая белизна отцовских аристократичных рук с длинными тонкими пальцами

и чуть розоватыми ногтями завораживала мальчика, в ней было нечто мертвенное и потустороннее, казалось, что ничто живое не может быть таким белым и чистым. В детстве у самого Бориса пальцы были маленькими и невыразительными, когда стал постарше — толстыми, мужицкими, что сформировало у него определенный комплекс неполноценности. Наверное, это подсознательное понимание, что сам он слишком не похож на лощеного красавца отца даже в мелочах, и стало причиной того, что Борис Михайлович дослужился до генерал-лейтенанта и обошел таким образом по карьерной лестнице своего родителя... По утрам десятилетний Боря наблюдал, как отец на кухне, положив перед собой газету, пилочкой полирует ногти, отпивает из крохотной чашки японского фарфора черный кофе, бросает беглые взгляды то на свои руки, то на мелкий плотный казенный шрифт крепко сбитых газетных колонок, курит хрустящую папиросу и пускает дым из ноздрей.

Иванов-старший никогда не приводил домой женщин, но Боря знал, что у родителей их много, в детстве это вызывало в нем обиду, ему казалось, что отец оскорбляет своими любовницами умершую мать, изменяет ей. Мам у Иванова-младшего было две: одна висела на стене, вторая, с загнутым уголком и тонкой трещинкой по диагонали, стояла в рамке рядом с кроватью — черноволосая и улыбчивая, со смеющимися глазами, она занимала в его комнате и жизни чудовищно мало места, место двух бумажных прямоугольников, но воспоминание о ней мучительно тревожило Борю. Когда мальчик стал старше, то уже не обижался на отца из-за этих женщин, не считал двух своих мам оскорбленными его связями, он просто ревновал этих дам, ревновал так, как только может ревновать одинокий половозрелый подросток. Каждый раз, когда Михаил Яковлевич возвращался со службы и наполнял квартиру запахом перегара, он не смотрелся в зеркало, не любил этого, просто ковылял мимо, не видя Бориса, — шагал мрачный и страшный, словно жрец. Иванов-старший отворачивался от зеркала с равнодушием стального великана, кустодиевского большевика с горящим взглядом фанатика, который весь день перемалывал, грыз сухожилия своих бесчисленных врагов и только что освободил гортань, выbleвав из себя их сгущенную кровавую жижу и промыв глотку спиртом. Он напоминал в эти вечера приземлившегося в свое логово усталого дракона. Когда же, сняв фуражку и кожанку, наоборот, останавливался перед зеркалом, приглаживал вихры и с самодовольством поглядывал на себя, Борис понимал: отец был не на службе, а у одной из своих пассий. Глядя на это удовлетворенное, чуть хмельное от щедрой чувственности лицо отца, похожего на сытого кота, чувствовал: в эти минуты даже воздух в квартире пропитывался сексом. И казалось, что он видит на отцовском лице следы ненасытных женских губ и поцелуев, чует запах клейких женских соков и терпкого пота. В те же вечера, когда отец не смотрелся в зеркало, мальчик ощущал присутствие смерти и людских многоголосых мучений, слышал вопли ужаса и боли, которые волоком тащились за Ивановым-старшим: так зацепившаяся за воротник паутина, прилипшие к одежде репей и насекомые тянутся следом за идущим домой грибником с самого леса...

Отсутствие матери, не говоря уже о нехватке душевного общения и живых жизненных впечатлений, сопряженных с сознанием того, что ты внушаешь страх (вернее, не сам ты, а вечное присутствие отца, который, словно призрак, выглядывает из-за твоей спины), изолировали Бориса, сделали его одиноким, даже диковатым. У него были игрушки, о которых сверстники не могли даже мечтать, а позднее благодаря связям отца перед младшим Ивановым открылись головокружительные карьерные перспективы, но именно это-то и превращало его не в избранника судьбы, не в баловня, а в изгоя. Когда он в горячке своих читательских интересов втайне от родителя умудрился в числе прочего познакомиться с Евангелиями, его больше всего по-

разила притча о богаче и прокаженном Лазаре, струпья которого облизывали псы. Сам мальчик, несмотря на свое материальное благополучие, именно Лазаря воспринимал особенно близким себе, таким же отчужденным от общества людей и низвергнутым. Та пустота, что появляется в доме и жизни человека со смертью матери, поглотила в себя Бориса с первых дней существования, заполнила собой все детство, весь дом Ивановых; а то самое пространство, которое в жизни ребенка должен занимать отец, Иванов-старший занимать не мог из-за постоянного пребывания на службе или у женщин, вот и получалось, что мир Бориса состоял из вечной пустоты мертвой матери и затаенной пустоты как будто бы живого отца с белыми призрачными руками...

В школе Борис часто влюблялся в девочек, но не смел заговаривать с ними, не умел даже прикрывать свои чувства грубоватой развязностью, обычной для его одноклассников, дергающих девочек за косички и иногда тискающих их заманчивые тела в темных коридорах или подъездах. Он держался с вызывающим снобизмом, который воспринимался как неизбежное и заслуженное должное, так от птицы ждут взмаха крыльев, от овцы — бляньня, а от шакала — оскаленных зубов. Растравленный отцовскими похождениями и его счастливо-сладостным, сытым видом удовлетворенного самца, в шестнадцать лет впервые наведаясь к проституткам, с одной из которых и лишился девственности, после чего как будто прокашлялся — страхнул свою обычную писклявую робость и нелюдимость, в нем прорезалась уверенность в себе, он сблизился с некоторыми сверстниками. Вообще его взаимоотношения с людьми делились на три периода: периода детской непосредственности, полного друзей, то есть на ту пору, когда маленький Боря не знал, что значит ЧК и что такое его отец, — в те годы мальчик был весел и распахнут, очень общителен и доверчив. Во втором периоде, лет с десяти, Боря почувствовал, что окружен определенным ореолом, данным ему от родителя, некоей темной аурой, вызывающей у всех страх и отчуждение, поэтому мальчик начал хмуриться, ожесточаться, смотреть свысока — не потому, что гордился, нет, он просто боялся того, что его ненавидят, что страх окружающих основан не на уважении, а на презрении, и он боялся этого страха. В этом смысле страх страха и стал, в свою очередь, причиной его своеобразного отшельничества, поэтому он первым старался возвести перед собой стену, захлопнуть перед собой все двери, чтобы не оказаться в роли того, перед кем эти двери захлопываются, — Борис изгонял из своей жизни людей, потому что сам боялся быть изгнанным. В третий период, начавшийся с первого похода к проституткам, он все больше переставал быть робким и уязвимым подростком, тоскующим от своего одиночества, Боря как-то заматерел и решил идти по стопам отца, стать нагромождением силы и власти, способным попать все что угодно. Иванов-младший разделил человечество на две категории: на тех, кто боится, и на тех, кого боятся, — и решил для себя, что хочет принадлежать ко второй.

Позднее Борис узнал, что отец причастен к массовым захоронениям, останкам восемнадцати с половиной тысяч людей, которые обнаружили в шестидесятые, потом засекретили и снова открыли только в девяностые годы на территории спортивного комплекса МВД и стадиона «Динамо» двенадцатого километра Московского тракта, ведущего от Екатеринбурга к столице через Ревду и Пермь. Иванов-младший не имел представления, как именно, то есть как «в деталях» отец причастен к этому, потому что тот никогда и ничего не рассказывал о своей службе, но Борис Михайлович точно знал: отец — один из тех, кто «заселял» это тайное кладбище. Знал, потому что в тридцать седьмом и тридцать восьмом хорошо помнил отцовские возвращения под утро, его страшные хмельные глаза василиска, источающие сгустки ярости. И каждый раз потом, когда они ехали

по этому тракту к двоюродной тетке Бориса в Пермь, на отрезке трассы, где вдоль леса стоял забор, отец, сидевший рядом с ним на заднем сиденье, всегда, если был трезвым, напрягался, пузырился гневом, бледнел, становился растерянным. Он кричал на водителя, называл его гусеницей, приказывал ехать быстрее или доставал из кармана фляжку с коньяком и делал несколько жадных глотков. Тогда Боря не знал, что это за забор, что это вообще за место, позднее же, когда вырос, привык, что там расположена спортивная база МВД, и только в шестидесятые годы все прояснилось, когда во время стройки экскаватор почерпнул там груды человеческих черепов и костей, прораб вызвал милиционеров, а те только развели руками и обратились к чекистам. Борис Михайлович сам, в то время капитан КГБ, приехал туда и по иронии судьбы лично засекречивал мрачную находку, собирая с рабочих заявления и подписи о неразглашении государственной тайны под угрозой высшей меры наказания, чувствуя себя частью этого кладбища точно так, как чувствует себя частью дома жена, когда прибирает на кухне после того, как ее рыгающий супруг сытно пообедал. И глядя на эти черепа, Борис видел в их пустых глазницах те потаенные приходы пьяного и страшного жреца-отца, избегавшего смотреть в зеркало...

Когда Иванов-младший дослужился до полковника, его назначили начальником нового отдела, пришлось переехать из города на окраинную эфэсбэшную базу под Екатеринбургом, но он не хотел жить среди простых смертных, поэтому построил себе коттедж, ставший первым роскошным домом в тех краях. Располагался он на пустыре и тем самым невольно образовал целую улицу — главную улицу будущего коттеджного поселка. В этом смысле огромный дом Иванова сам являлся поселком, вернее, был его эйдосом и первым заложенным в нем камнем. Позднее бизнесмены и другие крупные дельцы пристраивались к нему, выкупая рядом землю, словно признав, что это действительно очень удобное место для жилья — среди полей, лесов, озер, а главное — относительно близкое к городской инфраструктуре. Кичливый, с колоннами, роскошный особняк Иванова, поначалу так резавший глаза своей дерзкой помпезностью и размерами, как-то изгладился, оброс другими домами, стремившимися затмить его чем-то своим, поэтому в молодом поколении уже почти никто не знал, что именно Иванов и его дом стали зачинателями этого коттеджного поселка.

В девяностые, с началом приватизации, тогда еще генерал-майор Иванов использовал свое влияние и знакомства, чтобы пристроиться к одной из кормушек Уралмашзавода, который растаскивался по кускам и все больше напоминал яблочный огрызок: гигант истаивал в руках уважаемых воротил-клептоманов и бандитов — каждый хотел отрезать более увесистый кусок пирога. В девяностые на Уралмаше происходило примерно то же самое, что и в тридцатые, только теперь стреляла не власть, стреляли друг в друга. По первым директорам завода можно было учить историю двадцатого века России, потому что за датами управления: Старков (апрель 1931 — декабрь 1932); Городнов (декабрь 1932 — июль 1933); Беленький (июль — ноябрь 1933/застрелился); Владимиров (декабрь 1933 — сентябрь 1937/репрессирован) — стояли не просто сроки службы, за всем этим скрывалась судьба народа и целой эпохи. Точно так же по перетасовкам в руководстве завода девяностых — начала нулевых, по убийствам и толкотне вокруг предприятия, по его расчленению, по растущему количеству начальников и заместителей и по сокращающейся численности квалифицированных рабочих можно было зафиксировать личину новой эры...

Близость к уралмашевской кормушке и стала причиной, по которой Иванов в свое время так и не перевелся в Москву. В девяностые генерал-майору иногда казалось, что скоро ФСБ, как и РФ, вообще прекратит свое существование и останутся одни руины,

поэтому он перестал делать ставку на служебную карьеру и предпочитал кормиться темными и полулегальными делами, но со временем, когда воздух вокруг этих кормушек слишком уж накалился, Иванов, опасаясь за свою жизнь, все-таки оторвался от растерзанного вымени расчлененной заводской туши. Только после того, как небольшой, но очень стабильный приток денег в его карман прекратился, Иванов начал чувствовать себя в безопасности.

В 2006 году генерал-лейтенанту в отставке Иванову исполнился восемьдесят один год. Похожий на высохшую кость, маленький сморщенный человек с поджатыми губами и глубокими следами сдавленных эмоций на лице, он напоминал пиранью: гневные, презрительные глаза эти казались точным отражением взгляда того шестнадцатилетнего юнца, одинокого, во всем разуверившегося и изломанного, впервые побывавшего у проститутки. Правда, теперь глаза эти выцвели, как-то опустели, но из них все равно выливалось то самое выражение чисто защитных ненависти и снобизма — защитной желчности. Глядя на внушительное лицо этого костлявого старика, едва ли можно было подумать, что его суровая внешность — лишь маска на всю жизнь перепуганного, одинокого мальчишки, не знавшего никогда, что такое любовь матери и отца.

После шумного юбилея в 2005-м Борис Михайлович еще больше дистанцировался от внешнего мира, жил в своем особняке вместе с тридцатилетней женой Дашей. Девушка Дедушки, как прозвали молодую Маслову, приехавшую сюда из Ижевска и сумевшую поймать на живца своей провинциальной смазливости такого состоятельного и влиятельного уральского мастодонта, как генерал Иванов, вышла за него замуж еще в двадцать три. Маслову нельзя было назвать ни симпатичной, ни даже красивой, но девушка совершенно ослепила Иванова роскошью своего молодого и щедрого тела, привязала старика к себе, напоминая со стороны не то его внучку, не то собаку-поводыря, которая ведет ослабшего, дрожащего и полуслеплого генерала. Она стала женой Иванова в его золотой уралмашевский период, еще до того, как партнеры по делам Бориса Михайловича, его своеобразные молочные братья по Уралмашу, начали кидать его и угрожать расправой, еще в те годы, когда семидесятилетний генерал держался молодцом — на вид ему можно было дать тогда, в девяностые, лет шестьдесят. Выйдя за него замуж, Даша все ждала-ждала-ждала, утешая себя, что сейчас ему уже восьмой десяток пошел, и годы действительно брали свое: хватка старого чекиста ослабела, но Борис Михайлович продолжал просыпаться, есть, разговаривать и во всем остальном вести себя как живой человек.

Теперь этого некогда сильного, сухопарого и морщинистого человека с большими подвижными желваками каждый летний день под руку выводила молодая супруга Даша, усаживала его в плетеное кресло, садилась рядом и читала газету или книгу, время от времени пристально поглядывая на него так, что нельзя было сказать точно, чего именно она ждет. Эти двое почти не разговаривали, со стороны они вообще напоминали двух военных преступников, заточенных в особняке по нюрнбергскому приговору.

Познакомившись с генералом Ивановым, двадцатитрехлетняя Даша напела обычную в этих случаях песню о том, что «настоящего мужчину возраст только красит», и стала ждать, так на вокзале ждут прибытие скорого поезда, а в аэропорту — вылет своего самолета. Но годы шли, не успела Маслова оглянуться, как сама разменяла четвертый десяток. В 2015-м семейство Ивановых отпраздновало знаменательный юбилей: генералу Иванову исполнилось девяносто. Даша подобралась к пятому десятку, но старик все никак не умирал. Молодая цветущая провинциалка с пленительным свежим телом как-то пожелтела и осунулась, расквасилась и одрябла, словно залежавшийся в кладовке кабачок, по утрам без косметики на вид ей можно было дать

все пятьдесят пять, одна только элегантная молодежная одежда, косметика и подтяжки лица делали ее несколько свежее. Даша держалась за все эти примочки с тем перепуганным остервенением, с каким Борис Михайлович держался за свою молодую супругу — со стороны могло показаться, что он почерневшим от крови насекомым присосался к этой телесности и всасывает в себя ее энергию, ее женскую суть, продлевая тем самым срок собственной жизни. С годами Иванов даже как-то румянился и свежел, его обычная желтизна вовсе отхлынула от лица. Подводили лишь вконец ослабевшие ноги и изломанные артритом руки, несколько раз сердце как-то предсмертно вздрагивало, как ударившаяся в лобовое стекло птица, да и постоянная одышка и ломота костей не давали покоя, но все в конечном счете обходилось только ложными инфарктами и сильными болями, лицо, хоть и было словно посыпано снегом и ледяной крошкой, все-таки выглядело живым и подвижным. Старческая пигментация расплзлась по коже огромными веснушками, создавалось впечатление, что Иванова уже присыпает землей, как бы готовит к могиле и смерти, но старик все жил, улыбался, иногда бормотал что-то с трудом, но все же небессвязно. Генерал не мог самостоятельно подняться, только тихонько передвигал ногами, когда Дедушкина Девушка-поводырь влекла его к плетеному креслу, летом стоявшему в саду, а зимой — на застекленной веранде.

Каждое утро, когда Даша вела старика в туалет, подмывала и кутала его, она вглядывалась в его лицо с тем внимательным сосредоточением, с каким собака смотрит в сторону кухни, а когда подавала Борису Михайловичу его утреннюю порцию пилюль и витаминов, то перебарывала сильное искушение: в мыслях нет-нет да и проскальзывало желание подsunуть в эту горсть пару таблеток виагры, но страх перед тюрьмой удерживал от этого шага на протяжении всех лет их совместной жизни.

Маслова развлекала себя шопингом во время редких выездов в город — оставляла в доме сиделку, которую генерал ненавидел, он хотел, чтобы именно супруга ходила за ним и заботилась о его распадающемся, тяготеющем к земле теле. Но Даша, несмотря на ожидающие ее после каждой такой отлучки укоризненные взгляды и бормочущий, недовольный клекот старика, прикрывалась необходимостью покупок и отстаивала свое право на небольшие глотки свободы. В такие вылазки Маслова становилась помолодевшей и загадочной. Она производила впечатление состоятельной бизнесвумен — солидной и знающей, чего хочет от жизни. Выходила из дома цокающим счастливым звуком кокетливых каблуков, нажимала кнопку гаража, нетерпеливо бряцала ключами, пока железная дверь плавно и медленно поднималась, а потом наконец-то уезжала на одном из своих авто.

Вечерами, по возвращении, напоив генерала ромашковым чаем и травами для сердечников, она укладывала его спать, довольная тем, что сегодня удалось вырваться на свободу и снять за деньги молодого красивого парня, довольная тем, что генерал уже пять лет не был мужчиной, хотя все время до этого, до восьмидесяти пяти, ей приходилось раз в два-три месяца удовлетворять его редкие приступы угасающей плоти. Свои женские услуги воспринимала больше как гигиеническую процедуру, вроде той каждодневной, когда приходилось подмывать в туалете его плоские, обвислые мощи. Она подтирала, купала, делала присыпки, даже в своем роде пеленала этого некогда высокопоставленного чекиста, вселявшего страх собственным властным величием и непомерным авторитетом, а теперь похожего на ребенка — облысевшего и изросшегося, изборожденного трещинами и болезнями. Она холила и с ложечки кормила эту рыхлую, но все никак не умирающую плоть, втирала в нее мази и ставила капельницы, делала уколы, выдавала нужные таблетки и все ждала-ждала-ждала...

HEAVY METAL-ROCK'N'ROLL

Москва, 2024 год

— Приветствую всех аудиофилов и поклонников винила! Дорогие радиослушатели, с вами я, бессменный ведущий «History Music FM» Олег Каверзный! Сегодня в нашей радиостудии особенный гость, без всякого преувеличения, он — один из крестных отцов рок-н-рольного миссионерства и хеви-метал просвещения в нашей стране. Юрий Ларионов! Музыкальный критик, продюсер, организатор в СССР первых концертов таких легендарных групп, как «Led Zeppelin», «The Rolling Stones», «Pink Floyd», «AC/DC», Элтона Джона, Пола Маккартни и...

— Ну-ну, Олег, вы меня переоценили, это не совсем так, позволю себе вас перебить, чтобы внести свои пять копеек. Например, первые выступления «Pink Floyd» в СССР организовал Госконцерт, сумев найти общий язык с Bannucci Leisure Enterprises Limited, и они провели серию выступлений в Москве. Сложность состояла не только в изоляции Советского Союза от мировых музыкальных процессов, вызванной как «холодной войной», так и неизменным на протяжении всей мировой истории боязливо-мифологизированным отношением к России, проблемы были и чисто рыночного характера — курс доллара. Цены на билеты в СССР в рублях в переводе на доллары превращались в настолько смешные суммы, что музыканты фактически работали бесплатно. Чтобы западные звезды выступили в России, требовалось перекинуть мост через обе эти пропасти... Теперь что касается первых официальных мероприятий. Я, например, не имел никакого отношения к первому концерту Элтона Джона: когда он приехал в Советский Союз, билеты на его концерты были строго распределены среди правительственной номенклатуры. Именно поэтому звезда выступала перед чопорной, оскорбительно сдержанной, серой публикой в галстуках и пиджаках, думая, какие все-таки эти русские бесчувственные роботы... Так что первый концерт в каком-то смысле был дан только для политиков, которые ни черта не смыслили в музыке, им что Элтон Джон, что «Песняры» — все едино. Мертвые холодные люди, сами понимаете. Одно утешение — там каким-то чудом затесалась горстка живых поклонников. Не знаю, как они достали билеты, но они отдали должное музыканту. Но это капля в море... То же самое, кстати, случилось во время суперсерии СССР—Канада: среди зрителей на московских играх практически не было нормальных болельщиков, одни чиновники. Я к тому, что подобной гнусности не потерпел бы, так что не имею к первым концертам никакого отношения. Когда мы с товарищами работали, то старались добиться, чтобы билеты распространялись прежде всего среди тех, кто обожал, боготворил, по-настоящему любил и ценил приглашаемых музыкантов... В восемьдесят девятом, когда приехал «Pink Floyd», среди льготников оказались «афганцы», они стали новой категорией покупателей, что имели возможность без проблем взять билет в кассе. А учитывая, что тогдашнее государство оставило их ни с чем, по существу в нищете, то здесь решило блеснуть, отличиться, но ничего, кроме раздутой спекуляции, не вышло. Билеты перепродавались троекратно, пятикратно — люди приезжали на концерт с Дальнего Востока и стояли с табличками «Куплю билет за любые деньги!». Сами понимаете, что творилось... Мы же старались подобного избегать... А позднее, в девяностые и нулевые, мы действительно организовали несколько концертов упомянутых вами исполнителей.

— Я вас понял. Но о чем же вы сегодня хотите рассказать нашим слушателям?

— Да, благодарю. Речь пойдет об английской группе «The Sigma». Она появилась в 1965 году и внесла большой вклад в становление и развитие психоделического и экспериментального рока, протопанка, ритм-энд-блюза, гранжа, рок-н-ролла, хард-рока и хеви-метал. Они стали неотъемлемой частью «британского вторжения» наряду с «The Beatles» и «The Rolling Stones». При желании список жанров можно продолжать, ведь каждый альбом этой группы в ранний период их творчества был уникален. Они очень быстро менялись, находились в постоянном поиске и эксперименте, и это связано с тем, что постоянно менялся состав их группы, а новые люди приносили новое видение. Так что биография у группы сложная: у них реально с большим трудом найдется хотя бы пара альбомов, которые записаны одним и тем же составом. Дважды менялись их фронтмены, трижды — барабанщики и бас-гитаристы. За время существования группы над текстами работали три человека, а над музыкой — человек двадцать пять. Первый фронтмен, Стивен Марко, умер от передоза, второй, Джо Флеш, покончил с собой, изрядно накачавшись виски и сунув дуло револьвера себе в рот, а один из их гитаристов сошел с ума. Оба солиста были не только вокалистами, но и авторами песен, поэтому им на смену стали искать нового автора, пока случайно не познакомились с Чаком Уински, поэтом-авангардистом и талантливейшим, очень своеобразным прозаиком. Таким образом, первый альбом наполнен духом Стивена Марко, обожавшего творчество Уильяма Блэйка, чья философия и эстетика оказали на него сильнейшее влияние. Второй альбом пропитан буддистскими искажениями Джо Флеша, человек поколения битников, он испытал влияние дзен-буддизма. К тому времени США во множестве наводнили разного рода протестантские и баптистские секты, компрометирующие христианство. Они давали его искаженную и отталкивающую любого нормального человека картину. Этот кризис института церкви случился и в Англии, поэтому когда первые исследователи и популяризаторы дзен-буддизма стали публиковать свои вещи — Судзуки Дайсэцу, Сэлинджер или Герман Гессе, — началось повальное увлечение этими новыми экзотическими идеями. Все новое манит гораздо больше, чем опорощенное и набившее оскомину старое, особенно если это старое обезображено донельзя... Ну а когда над текстами стал работать Чак Уински, песни, да и сами альбомы стали более метафоричными и интеллектуальными, бросая вызов культуре потребления...

Еще одним фактором влияния на концепции альбомов этой группы стали наркотики, да и сама взбалмошная, раскрепощенная, бунтующая эпоха, которая достаточно быстро пришла к саморазрушению, именно поэтому коллектив «The Sigma» так часто перетасовывался: кто-то погибал, кто-то оказывался в тюрьме или психиатрической клинике. Один из басистов ушел из группы, заявив журналистам, что творческая жизнь разрушает его, поэтому теперь он предпочитает жить интересами жены и ребенка, жить простой жизнью нормального счастливого человека, отца и мужа... Через несколько лет после образования группа должна была развалиться из-за возникших противоречий, а главное, из-за самой примитивной дележки денег, но коллектив преодолел этот кризис, так что даже те, кто поначалу отделился и попытался сделать сольную карьеру, вернулись в состав... Все-таки как ни крути, а самое важное во всем этом сама музыка. Возможно, благодаря таким ярким и индивидуальным группам с их потрясающими находками и экспериментами в шестидесятые—девяностые годы, музыка как бы родилась заново. Они сотворили новый музыкальный мир, оказавшийся не в реальности Бетховена и Чайковского, Баха и Прокофьева, не в реальности музыкального фольклора разных этносов, а в новой музыкальной реальности, в параллельной классикам-инструменталистам вселенной. Основы этой реальности в тридцатые

и сороковые годы закладывал Чарли Паркер со своим бипопом, а в пятидесятых Чак Берри, Элвис Пресли, Дэвис Майлз, Джон Колтрейн, Дэйв Брубек... Попав на английскую почву, американский рок-н-ролл запустил в шестидесятые совершенно невероятную химическую реакцию, которая породила такое количество музыкальных гениев... Когда же эти новации добрались до России, то те же процессы пошли и у нас в стране, породив наш собственный рок, джаз, метал и панк. Например, джаз-рок-ансамбль Алексея Козлова «Арсенал», созданный в семьдесят третьем... Одним словом, ветер веет, где хочет, а культура безгранична и всеобъемлюща, она всегда выше любых политических застенков, предубеждений, конфликтов и преград, разумеется, если это настоящая культура, а не ее фикция.

— Почему вы решили рассказать именно про эту группу?

— Ну, во-первых, она практически неизвестна в нашей стране, а во-вторых, на ее примере я бы хотел коснуться одного очень любопытного феномена, которому был свидетелем во время их первого концерта в России в Санкт-Петербурге, если мне не изменяет память, это был 1999 или 2001 год. Я был одним из организаторов и самых алчущих зрителей.

— Что вы имеете в виду?

— Понимаете, к тому времени я знал их альбомы буквально наизусть, мне теперь даже кажется, что я знал их альбомы лучше, чем их помнили и знали в самой группе. По крайней мере, когда они приехали к нам выступать, было именно так... В молодости я боготворил их музыку, закручивал их пластинки до дыр. И вот они стояли передо мной на сцене, я даже имел возможность зайти к ним за кулисы перед концертом, что называется, прикоснуться к кумирам... И вот они начали играть, но ничего, кроме разочарования я не испытал. Они играли вещи, которые я прекрасно знал и помнил, но я слушал и понимал, что происходящее на сцене — прямолинейная, тупая работа, топорная попытка симитировать шедевры, которые я так любил когда-то. Мне предлагали суррогаты и имитации того великого, что было когда-то давно записано на их пластинках. И с тех пор я больше никогда не обращался к их альбوماм. Мне казалось, что они предали не только меня и всех своих поклонников, они предали свои собственные святыни, годы молодости и труда, своих открытий и свершений, годы борьбы, на худой конец — борьбы со своими страстями и наркотиками, со всеми зависимостями и соблазнами, которые обрушиваются на каждого музыканта, особенно на популярного. Творчество в подобных условиях — это самая настоящая битва. Не раствориться в фанатках, нарциссизме, соблазнах и лени при подобном раскладе можно лишь в том случае, если ты ведешь серьезную духовную работу и борьбу... И каждый талантливый альбом в условиях всего этого — победа в этой борьбе. То же, что я тогда услышал в Петербурге, — дезертирство и предательство.

— Как вы считаете, чем был вызван уровень их игры? Почему они так разочаровали вас во время того злосчастного концерта?

— Я много об этом думал, но так и не нашел ответа. Само собой, это можно объяснить самыми тривиальными вещами, сказать, мол, старички из «The Sigma» уже не те... выдохлись, дескать. Исписались, как говорят о писателях. Но это во всех случаях лишь констатация факта, причина всегда кроется в другом. Я был на многих концертах самых настоящих динозавров, состарившихся живых легенд, некоторые из этих концертов я сам и организовывал, но подобное разочарование меня ждало далеко не всегда. Поэтому если быть честным, то можно сказать, я не знаю, не понимаю, почему один музыкант или писатель, режиссер или актер, с возрастом становится только глубже и интереснее, а другой, наоборот, иссыкает... не знаю, думаю, что у каждого из них своя история болезни...

Рейс РС 1771: Лондон—Санкт-Петербург, 1999 год

Мы летим в Россию, и я не знаю, чего ждать от этой пугающей медвежьей страны с ее ядерным оружием, танками, армией, водкой и медведями. Джимми бьется об заклад, что там до сих пор нет асфальтированных дорог. Честно говоря, я ожидаю примерно того же. Поселят нас в каком-нибудь клоповнике в районе типа нашего восточного пригорода Лондона — это в лучшем случае... думаю, после поездки в Россию общение с кокни мне покажется душевным и интеллектуальным удовольствием... На самом деле все осточертело, но наш менеджер утверждает, что эта поездка нам необходима: мол, упрочит нашу популярность, расширит горизонты влияния и все такое прочее. Да и деньги в этот раз предложили действительно хорошие. Черт с ним, кокни так кокни, медведи так медведи. Надо будет, сыграем и перед бетонным забором... Мать твою, Рольфи, с каких пор ты стал таким неразборчиво-равнодушным? С каких пор тебе стало все равно?.. Ты даже гитару последние несколько лет держишь с каким-то безразличием. Чего ты ищешь?.. Покоя, наверное. Больше ничего не хочу, все осточертело. Бог ты мой, как же я устал... Да и не я один задыхаюсь от этой дерьмовой хандры — все ребята из группы такие же равнодушно-холодные... Будь Стиви и Джо живы, что они бы сказали о нас? Сначала бы засмеяли, а потом, наверное, начали хоронить... Короче, сто пудово отнесли бы нас на свалку.

Может быть, во всем виноват Чаки со своей вечной писательской депрессухой. Он прожужжал нам все уши о том, что все бессмысленно, что дальше будет только хуже, что мир изменился, ему больше не нужны эксперименты, новаторство, революционность, гиперэмоциональность, экспрессия и откровение, даже совершенство стиля и форм — дескать, в литературе и музыке, в кино теперь единогласно правят законы рынка. Прав и прекрасен лишь тот, кто хорошо продается. Культура теперь живет по законам публичного дома, где круче всех самая популярная и дорогая шлюха... Когда-нибудь Уински угодит в клинику, он пьет, как лошадь, чертов мудака. Даже писать перестал, уже несколько лет не публиковал ни стихов, ни прозы. «А зачем? — говорит. — Все одно издатели печатают мои вещи только потому, что используют авангардную репутацию нашей группы. Для них все это только товар. Я могу сунуть им любое дерьмо — они все принимают с восторгом, все время хвалят. Подотри я свою задницу листом бумаги, они сбегрят нашим поклонникам даже это, скажут, что это абстрактный экспрессионизм, что Чак Уински стал живописцем!»

Возможно, алкаш Уински прав. Вот и менеджер к этому нас с ребятами подводит постоянно, пресекает любые поползновения в сторону экспериментов и попыток выдать в музыке нечто более смелое. Дошло до того, что мы даже свои ранние альбомы играем так плоско и прямолинейно, что будь Стиви и Джо Флеш живы, они бы нас пристрелили... Я уже не помню, когда в последний раз отыгрывал с чувством радости, восторга и счастья — так, чтобы отдаться музыке, распахнуться через нее, чтобы до слез и клекота, чтобы меня снова, как и в молодости, охватило бы ощущение сгорания на сцене... больше никакого драйва, никакой эйфории. Помню, как Стивен упрекал нас, всегда одергивал, если мы начинали заигрывать с трендами. Марко всегда бежал от популярности, как от огня, так же, как потом Джо Флеш. Они боялись популярности, чувствуя в ней угрозу... Достаточно вспомнить самое начало, когда мы только познакомились... тогда все заслушивались рок-н-роллом, а Стивен как самый настоящий задрот продолжал скупать винил с записями ритм-энд-блюза... поначалу мне показалось, что это у него такая бравада была, попытка выделиться, мол, все слушают то, а мне нужно это, но нет, он был искренним во всем, даже если его поведе-

ние напоминало позу, это была искренняя поза... Джо Флеш считал, что популярность уничтожит нашу сущность, превратит нас в шутов и рабов... Когда мы не получили «Грэмми» за первый альбом, хотя все были уверены, что премия в нашем кармане, мы стали упрощать второй альбом, скатываться в попсу, делать проще, чем можем. И всем без исключения, кто слушал новые вещи, они безумно нравились. Их лица светлели, они больше не морщили лбы и не задавали нам тупые вопросы, что мы хотели этим сказать... Что может быть хуже подобного вопроса? Это как если ты рассказываешь человеку анекдот, но он не смеется, просит объяснить, что же здесь смешного. И вот ты ему разжевываешь. Он говорит: «А, я понял. Ну да, прикольно...» Бог ты мой, этот чертов вопрос! И вот мы скатывались в попсу, а они все прыгали от восторга... Вывернувшийся до основания Стиви, отдавший всю свою душу и энергию первому альбому, сначала проклинал нас, потом смотрел с молчаливым упреком. Он запрещал нам идти на поводу толпы, но у него уже не оставалось сил бороться ни со своими зависимостями, ни с нами, ни с внешним миром. Периодами он будто полностью отключался от реальности, как тогда во время интервью на том странном ток-шоу. Просто замолчал и перестал реагировать на вопросы... Ведущие даже заерзали, так отстраненно он на них смотрел... или как тогда, когда он просто упал на сцену во время концерта. Просто свалился плашмя, как будто его выдернули из розетки... Но даже после смерти Стиви Джо Флеш не дал нам скатиться в попсу, он действительно сумел заменить собой Стива... они так не похожи друг на друга, думаю, познакомься они до смерти Стиви, то непременно набили бы друг другу морду, но в главном они одинаковые — все ради чего они жили — это музыка, музыка во всех ее безграничных возможностях и свободах, во всем ее полновзвучном величии... Это целая вселенная, Бог ты мой, мы ведь действительно чувствовали себя в открытом космосе... и каждый альбом был новой планетой. Сначала нашей душой был Стиви, потом Джо, а потом наша душа умерла, нашей душой стал менеджер...

Дьявол! Черт бы тебя побрал, сукин ты сын! Будь ты проклят! Единственное, что его заботит, — это продажи и сделки. Он доказывает нам, что слишком сложная музыка, слишком сложные тексты не будут понятны зрителям и фанатам, что спрос рождает предложение... Какого черта?! Почему раньше, когда Стивен и Джо были живы, долбаные фанаты в конечном счете все понимали, пусть не сразу, но все-таки. Когда это они успели всем скопом так резко поглупеть? Мда, Рольфи, ты мусор, ты самый настоящий перегой. Менеджер вьет из вас веревки, он взял вас под свой каблук. Ты дерьмо, Рольфи! Вы с ребятами предали Стивена и Джо, вы сплясали на их могилах чечетку, наплевали на их борьбу за совершенство и гармонию полновзвучия, за уникальность и неповторимость, за собственный голос и стиль... сейчас мы используем один и тот же набор самых наивных и простодушных приемов, одни и те же эффекты и частоты... Менеджер превратил нашу музыку в жвачку, убедив нас, что это то самое, чего жаждет толпа поклонников... И этот сукин сын прав, мы действительно стали популярнее, но при этом перестали быть собой! Пускай первый альбом оценили по достоинству только несколько тысяч человек, критиков и фанатов, но это были наши братья по духу, это были тысячи наших кровных братьев и друзей, сестер... это был задушевный сакральный диалог, полный магии и любви, шепота и крика, священного трепета... Каждый наш ранний альбом был книгой, способной изменить сознание, сделать человека глубже и интереснее, а сейчас мы просто шуты, способные скрасить досуг. Теперь нас слушают миллионы, но это уже не мы... Кажется, самолет снижается, вот и Россия, Санкт-Петербург.

Ну что, Рольфи, покажем этим русским, на что мы способны?

ОТЕЦ-ОДИНОЧКА

Повесть

Анатолий Борисович Ушанский, сорок лет, живет в маленьком сибирском городе N, когда-то сильно любил прекрасную Е, но прекрасная Е не отвечала взаимностью, а дочку от брака с нелюбимым мужчиной, с которым, как сама потом признавалась, «один раз переспала исключительно из жалости», она брать не хотела. Ушанский долго вздыхал, стонал и мучился, но в конечном счете понял, что получил в дар от судьбы не саму любовь, но, по крайней мере, плод этой любви — чего же еще можно желать?

Он работал менеджером по продажам в салоне сотовой связи, получал за это тридцать тысяч рублей, носил пугающе безвкусные остроносые туфли, стригся в дешевой парикмахерской, в которой даже «херская» давно была оторвана и куда-то унесена, так что осталось на старом занюханном панельном доме только две надписи: «Гастроном» и «Парикма». Прическа Ушанского (почти под ноль остриженная голова и оставленная спереди небольшая челка, напоминавшая недоношенный казацкий чуб), которую ему делали мастера из «Парикма», в простонародье называлась «гоп-стоп сели» или «здравствуй, быдло, новый год», хотя даже на гопника и быдло Толик никак не тянул. Его личность и внешность были точно из самых разнообразных лохмотьев и ошметков наскоро состряпаны, в итоге видок вполне себе типичного российского гопника сводился на нет добрыми глазами в круглых окулярах очков, и получался какой-то перегопник и недоинтеллигент. Такой вот отец-одиночка Ушанский на фоне многочисленных одиноких красавиц нашей страны, такая вот прекрасная Е и совсем не прекрасный Т, проживающие в ничем не примечательном городе N, такая вот провинциальная драматургия.

Глядя на Толика, невольно хотелось произнести лишь два слова: «лох» и «неудачник». Но это только на первый взгляд. Потому что всякий, кто увидел бы Ушанского вместе с его четырнадцатилетней дочкой, невольно придержал бы язык и проникся симпатией, настолько безбрежная опекающая нежность и любовь струились из его глаз, обращенных к дочери Лиле. Как ни крути, а любящий человек почти всегда прекрасен, само собой, если речь идет о настоящей любви, а не об одержимости, помешательстве, заиклившей на ком-либо похоти, чувстве собственности и прочих аномалиях, которые часто пытаются выдавать за любовь, рядить в нее... Поэтому только на первый взгляд Ушанский производил впечатление незадачливого Толика, а если всмотреться в глаза, заглянуть поглубже, то нет-нет, а разглядишь там Анатолия Борисовича, почтенного отца и любящего человека.

Его дочка Лиля с самого раннего детства коллекционировала кукол. Как бы дороги они ни были, отец никогда не жалел на них свою прискорбную зарплату, а раз в его жизни была только одна «маленькая женщина», значит, та любовь, которая накапливалась в нем для жены и детей, неизбежно обрушивалась на одну только дочь, и коли уж Толику не приходилось делать своей несуществующей жене подарки, водить ее в кино-рестораны, покупать всякие там букеты-конфеты-одежду-духи-украшения, то как-то само собой разумеется, все излишки от дохода (при зарплате Толика слово «излишки» несколько непотребно, поэтому при желании его можно заменить на «остаточки», «крохи» или, по меньшей мере, «осадок») неизменно отдавались на алтарь радости единственного существа, украшавшего его серую и унылую жизнь. Проблема была лишь в том, что после нескончаемых расходов на разного рода социально-бытовую и очень значимую чепуху: порошок стиральный, паста зубная, продукты, комму-

налка, Интернет, мобильная связь, покупка сезонной одежды, ремонт обуви — от зарплаты обычно уже ничего не оставалось, поэтому чтобы иметь возможности хотя бы иногда баловать свою дочь, зимой Анатолий ходил в осеннем бомбере, летних туфлях, поддевая теплые носки, отчего пальцы ног сминались, как водоросли.

В холодные времена года для Ушанского главным было перетерпеть дорогу, дабы отмучиться и дойти до работы, а там на месте он уже снимал толстые носки, чувствуя, что рождается заново. Отказывал он себе и в обеденных перекусах, поэтому когда коллеги звали его с собой на бизнес-ланч или даже в соседнюю столовую, он ссылался на то, что не голоден, а потом, когда все уходило, доставал из своего полиэтиленового пакета какую-нибудь сухомятную гадость и запивал все это горячей водой из кулера, который стоял у них в магазине. Одежда Толика сильно поистрепалась за годы суровой экономии, начавшейся с появления в его жизни Лили. Мать девочки никак не участвовала в его заботах, только несколько раз в году проводила с ней время, чтобы пообщаться, хотя общение матери и дочери обычно основывалось на единственной теме: «Твой отец ничтожество, мудака и неудачник», все остальные темы косвенно или напрямую вытекали из всеобъемлющей этой. Однако подобная промывка мозгов ребенка на отношение Лили к отцу никак не влияла — у дочки выработался ко всем этим разговорам определенный иммунитет, основанный на многолетних привычках постоянного соприкосновения с отцом, его вниманием и заботе.

Вечерами Анатолий потчевал Лилию сымпровизированным ужином, помогал с домашним заданием и только после этого штопал дырки на своих износившихся носках или трусах. Утром будил девочку, кормил простым, но питательным завтраком (он повесил на холодильнике специальную табличку с содержанием витаминов в разных продуктах и постоянно в нее поглядывал), затем провожал в школу, обнимал у крашенного в зеленый цвет крыльца дочь и шел на работу. Когда девочке было восемь или десять, Лиля воспринимала это как должное и даже не представляла, что может быть иначе, так как видела во всем этом цельность вселенского порядка и нерушимой гармонии.

Удивительно, но даже к такому непрезентабельному и малоимущему кавалеру, как Толик с прической «здравствуй, быдло, новый год», иногда приходили женщины, вернее, женщина — коллега по работе Диана, с которой он флиртовал от скуки пять дней в неделю, с девяти утра до шести вечера, в свободное от общения с покупателями и бумажной волокиты время. В определенном смысле слова они оба были похожи друг на друга, по крайней мере, в их жизнях имелось много общего: Диана, как и Анатолий, тоже была скована в своей свободе, только не из-за ребенка, а из-за пожилой матери-инвалида, за которой ухаживала. Диана тоже была достаточно невзрачной особой, пожалуй что выглядела даже еще хуже, чем Ушанский, несмотря на то, что была моложе его года на четыре. Глядя на нее со стороны, даже самый оптимистичный женолюбец сказал бы, что эта запущенная на вид и достаточно грузная бабенка ощутимо старше, чем Толик, не говоря уже о том, что одевалась она как старуха. Оба были бедны словно церковные мыши, зарабатывали ровно столько, сколько проживали здесь и сейчас, расходуя средства только на самое необходимое, то есть жили скромно, с постоянной оглядкой на завтрашний день, поэтому для своих свиданий даже в разговорах не замахивались на съемные комнаты или гостиничные номера, ни у того, ни у другой не было на это денег, а прийти на несколько часов домой к Диане не было возможности из-за ее матери, которая хоть и могла обслуживать себя самостоятельно, но каждый вечер и каждое утро нуждалась в том, чтобы ей готовили еду и помогали принять душ. На работе их служебный роман тоже никак не находил развития: как ни крути, а везде камеры, встретаться же в подъездах, как подростки,

им уже надоело. Вернувшись с работы, Диана обычно делала для матери все необходимое: стелила чистую постель, подавала книгу, ставила рядом чистую утку, оставляла в доступности пульт от телевизора — и на часок-другой могла позволить себе отлучиться по-соседски к Ушанскому. Они закрывались в комнате, чтобы Лиля не мешала, и обменивались торопливыми ласками, если слово «ласка» здесь уместно. Скорее, эта связь напоминала то самое, что в медицине именуется «физиологическими отправлениями», только в еще более острых и категорических формах.

Каждый раз, когда Диана приходила, отец оставлял дочь с куклами и закрывался на некоторое время со своей коллегой. Ушанский объяснял Лиле, что у него с Дианой много дел накопилось, поэтому нужно внести определенные правки, свести дебет с кредитом и кончить уже с этим злополучным квартальным отчетом. Лиле, само собой, не понимала ни слова, но в глубине души ненавидела все эти дебет, кредиты, кварталы и отчеты. Первое время девочка подходила к закрытой двери ближе и подслушивала, но потом скучное однообразное сопение Дианы и скрип дивана надоели ей до чертиков, и при визитах Дианы девочка уже не отвлекалась от игры с куклами, по звукам из-за двери понимая, что составление квартального отчета — самое скучное, что только можно вообразить, даже скучнее, чем походы с отцом по поликлиникам. Но осадок у девочки все же оставался, а ощущение того, что ее компанию в той или иной мере предпочли другой, девочка отцу прощала с трудом.

В те дни Лиле играла в куклы без увлечения, время от времени поглядывая на закрытую дверь комнаты, иногда немного шмыгала носом, потому что хотелось сесть к отцу на коленки, но эта сопящая толстая тетя, из-за которой начинал скрипеть диван, вставала между ней и отцом ненавистным препятствием. Впервые Диана появилась в их квартире, когда Лиле училась в пятом классе, сейчас девочка перешла уже в седьмой, а история с квартальными отчетами все никак не заканчивалась. Когда Диана приходила и здоровалась с девочкой, ответом ей был молчаливый взгляд исподлобья. После ухода женщины этим взглядом исподлобья дочка одаряла уже отца. Некоторое время серьезно дулась на него, бывало, не разговаривала пару дней. Видя обиду и ревность дочери, Анатолий старался рассмешить Лиле, иногда ему это удавалось, и они мирились в тот же вечер, иногда обида затягивалась, но потом все равно постепенно рассеивалась в памяти маленькой девочки, которая мало что держала в голове дольше сорока восьми часов, так как была очень увлекающейся натурой, и если уж возникало у нее какое-то чувство, оно заполняло ее без остатка, держалось до тех пор, пока его не вытесняло что-то новое, так же всецело заражавшее восторженно-обидчивую натуру. Отец много думал о характере Лиле и не мог решить, на чем все-таки основывалась эта переменчивость: на инфантильности и поверхностности или же, наоборот, на каком-то прирожденном и великодушном умении легко отпустить плохое и фокусироваться только на хорошем?

После очередного такого прихода Дианы Анатолий увидел на глазах дочери слезы.

— Что с тобой, маленькая? Почему плачешь?

Отец попытался обнять Лиле, но та отстранилась.

— Ты меня не любишь. И когда-нибудь уйдешь к этой толстой тете.

— Что за глупости ты говоришь? Ты мой самый дорогой и любимый человек.

Произнеся эти слова, Ушанский вспомнил о своей матери, которую похоронил пять лет назад — она умерла от инсульта. При мыслях об этом в груди заклокотало. Анатолий хотел было еще что-то сказать дочери, но понял: если произнесет хоть слово, голос непременно задрожит и сорвется. Он просто прижал ребенка к себе и стал целовать в макушку, лоб, глаза и нос — Лиле поддалась, с удовольствием подставившись под поцелуй отца. Они стояли так несколько минут, потом Ушанский сказал:

— Я обещаю тебе, что она больше не придет к нам. Даю слово, маленькая.

Лиля осторожно отстранилась, чтобы лучше разглядеть его выражение лица, и весело сощурилась. Анатолий сдержал слово. Понимая, что у них с Дианой нет вариантов встречаться в других местах, да и свободного времени не особенно много, он решил просто объявить своей коллеге о бессмысленности дальнейших встреч. Та удивленно на него посмотрела, недобро усмехнулась, пожала плечами, и больше они не разговаривали, первое время даже по работе старались общаться друг с другом только через третье лицо, а если еще одного человека не было рядом, то передавали друг другу нужную информацию, глядя в пол, прямо перед собой, под ноги. Наблюдатель со стороны никогда бы не догадался — смущаются они так или ненавидят друг друга.

После исчезновения Дианы в отношения отца и дочери больше никто не вторгался. Они зажили, как раньше: снова их вечера принадлежали только им одним, снова вместе просыпались, завтракали и шли в школу, обсуждали все события из жизни девочки, а иногда даже вместе играли в куклы — Анатолий строил для них домик из коробок, а Лиля переодевала всю их кукольную семью, рассаживала всех по комнатам, брала куклу-мату и начинала готовить с ней ужин на картонной кухне для остальных членов кукольной семьи...

Проснувшись очередным утром рабочего дня, Ушанский потянулся, дошел до ванной, ополоснул лицо, почистил зубы и выпил на голодный желудок стакан воды. Зевая и шмыгая носом, стал соображать завтрак — решил приготовить оладьи и поставил вариться пару яиц, достал из холодильника банку с вишневым джемом, после чего пошел будить дочь. Лиля смешно пищала и потягивалась, как маленький зверек, оголяя под пижамой теплый оранжевый живот с пушком.

«Вот вроде бы уже в пятом классе учится, а все такая же моя крошка», — промелькнуло в голове.

Когда дочь появилась на кухне, уже умытая и полуодетая, стол был полностью накрыт. Анатолий в фартуке с большими подсолнухами разливал по чашкам зеленый чай.

— Садись давай, уже остывает. Молока в чай налить?

— Ага.

Отец прекрасно знал, что дочка всегда просит добавить в зеленый чай немного молока, но неизменно задавал по утрам этот вопрос, то ли потому, что проверял привычку Лили на прочность, то ли лишний раз хотел услышать звуки ее голоса и немного развязать язык, который у нее с утра обычно был ленив и скован недосыпом.

Через десять минут завтрак близился к завершению, отец стал убирать со стола. Все его действия были доведены многолетней привычкой к устоявшемуся утреннему распорядку до виртуозного автоматизма, так что он даже успевал помыть всю посуду и заправить постель дочки к тому моменту, когда она только почистит зубы и пройдет в прихожую, чтобы закончить одеваться (она в отличие от отца умывалась после еды, а не перед). И в момент, когда Лиля зашнуровывала ботинки и надевала куртку, Толик обычно уже стоял в дверях, позвякивая ключами. Вот и сегодня все шло по обычному сценарию, только в ту минуту, когда Ушанский домыл посуду и пошел в детскую, чтобы заправить дочкину кровать, он увидел, что Лиля стоит в прихожей уже в зашнурованных ботинках и как-то слишком скоропалительно надевает на себя куртку.

— Ты чего это?

— А я сегодня без тебя. Мы с Давидом в школу идем.

Толик несколько смешался, но быстро скрыл растерянность улыбкой:

— Ой, да я с радостью, еще, значит, лишних полчаса могу поваляться в кровати, подремать.

Отец зевнул и потянулся — как-то очень нарочито, с определенной театральностью, но все равно не уходил, надеясь, что девочка чмокнет его в щеку, как обычно делала это, когда они прощались, из года в год: сначала у детского садика, а потом и у школы. Но вот Лиля махнула маленькой белой ручкой и повернула замок. Скрипучий механизм двери прокашлялся и пустил в подъезд, после чего дверь закрылась — в квартире стало невыносимо пусто. Анатолий стоял у дверей еще несколько секунд, прислушивался к шагам на лестнице — они жили на первом этаже. Шуршание ножек дочери, спускающейся по ступеням, еще некоторое время давало отцу некую тень радости. Но вот скрипнула подъездная дверь, захлопнулась и она, теперь их разделяли уже две двери, пустота квартиры и появившаяся сейчас тишина — оглушительная и жестокая, а еще какой-то там Давид, который, наверное, уже ждет ее на улице.

Постояв немного, Ушанский прошел на кухню, выглянул в окно. Увидел, что на улице действительно стоит мальчик, ровесник Лили, в стильной шерстяной шапке, очень современном симпатичном пуховике — Анатолий никогда не носил такой хорошей одежды. За окном ветер нервно разбрасывал всполохи снега, как разошедшаяся в своем энтузиазме домохозяйка посыпает хлоркой и порошком грязные половицы. Из-за этих хаотических движений не было до конца ясно — падает снег с неба или, наоборот, встает на дыбы.

Отец вернулся в прихожую, торопливо накинул куртку, запрыгнул в ботинки и вышел в подъезд. Закрыв замок, спустился и осторожно приоткрыл тяжелую подъездную дверь, выглянул в щель. Дети уже двигались по тропинке, мужчина видел их спины. Подождав еще немного, вышел на улицу и медленно, чтобы не хлопнула, закрыл дверь. Затем двинулся следом за дочкой и ее спутником, стараясь держать дистанцию. Ощущая закипавшее недоброе чувство по отношению к этому Давиду, он всматривался в спину мальчишки так пристально, словно перед ним шел малолетний любовник его жены.

Анатолий наблюдал за тем, как они разговаривают. По одежде Давида отец понял, что мальчик из более обеспеченной семьи — это спровоцировало в нем чувство неполноценности и определенной вины перед дочерью.

«Если даже мне неловко от этого контраста в их одежде, что, должно быть, чувствует маленькая, пока идет рядом с ним?» — невольно промелькнуло в голове, от чего зашкварчало и зашаяло мужское самолюбие, уже давно задавленное, забитое под плинтус, но все еще живое.

Толик ненавидел себя за то, что любил свою дочь, но не сумел должным образом ее обеспечить. Чего уж там, он не смог обеспечить даже самого себя. Отец с нервным, воспаленным вниманием следил за тем, как говорят подростки, за тем, как улыбается Давиду его дочь — Ушанский, вдруг, понял, что Лили улыбается сейчас мальчику какой-то совершенно новой, незнакомой ему самому улыбкой, которую Толик никогда еще у нее не видел. И это ударило его сильнее всего: отца возмущало, что есть нечто недоступное ему в собственном ребенке, какая-то закрытая тайная комната, которая будет открыта только перед тем мальчиком-юношей-мужчиной, что вызовет в ней чувства. Это взволновало отца и вызвало еще больший приступ ревности.

Ушанский поскользнулся и чуть не упал, летние туфли давали о себе знать, они скользили по стоптанному снегу, поэтому Анатолий старался особенно не поднимать ступни, а больше катиться на них, чем идти. Невольно подумал и о том, что слова «нервность» и «ревность» состоят из одних и тех же букв, и это как нельзя лучше передавало его внутреннее состояние, как, впрочем, и его глупые коровьи замашки — вот еще немного, и точно распластается на дороге и расшибет себе голову.

Отец все ждал, что Давид поцелует Лилю или возьмет ее за руку, но ничего подобного не происходило, они просто шли рядом, касались друг друга плечами, о чем-то весело говорили. Опасаясь того, что дочка вдруг оглянется, Толик перешел на противоположную сторону дороги и стал специально отставать, оставляя в поле зрения только их очертания. Ничего нового до самой школы он так и не увидел, поэтому, когда подростки скрылись за тяжелой, крашенной казенно-коричневой краской дверью, повернул в сторону работы. До начала смены оставался целый час, Ушанский с удовольствием прогулялся бы, но ноги уже замерзли.

Весь свой рабочий день Толик чувствовал себя раздражительным, заводился с полоборота, несколько раз сцепился в словесной перепалке с покупателями. Мальчишка не выходил из головы. Поглядывая на Анатолия, Диана томно вздыхала, она невольно связывала состояние бывшего любовника с их давним расставанием, поэтому весь день бросала на Анатолия призывные взгляды, надеясь, что один из них рано или поздно наткнется на ответную пристальность, хотя, казалось бы, с того момента прошло уже столько лет.

Вечером Анатолий приготовил для дочери ужин. Во время еды поглядывал на нее урывками, но с жадным интересом, пытаясь разглядеть то новое и незнакомое, что сегодня проскальзывало в лице девочки, когда они разговаривали с Давидом, но ничего такого не замечал. Передавая Лиле тарелку с хлебом, спросил:

— Тебе нравится Давид?

Лиля на секунду замерла, вопросительно посмотрела на отца, будто пытаясь понять, что именно скрывается в подтексте вопроса, и только после того, как поняла то, что именно стояло за этим простым, казалось бы, вопросом, ответила:

— Да, он интересный, веселый, добрый. А еще у него соображалка хорошая, постоянно спорит с нашей историчкой и училкой по литре.

«И красивый», — хотел было добавить Толик, но не стал. Отец представил себе, что его дочка целуется с этим Давидом, и ему стало некомфортно.

— Пригласи его как-нибудь к себе. Я могу заказать вам пиццу.

Лиля смотрела на отца, она долго прожевывала свой кусок и так же долго молчала, глядя на нее, казалось, что это два связанных между собой процесса, поэтому девочка сможет ответить только тогда, когда проглотит свой кусок, но все-таки когда дочка освободила рот и отпила из кружки, она все равно не отвечала.

— Почему ты молчишь?

— Потому что мне стыдно приглашать Давида в такую халупу, как наша. Его родители живут в своем коттедже, у них большой красивый двухэтажный дом, а ты предлагаешь мне звать его в нашу убогую двушку.

Теперь так же долго и молчаливо жевал отец, только смотрел он не в глаза дочери, а в тарелку. Смотрел и ужасно злился. Сама того не ведая, Лиля резанула отца по самому больному и уязвимому месту — по его материальному состоянию, но Анатолий ничего не стал говорить на этот счет, только пробормотал с оттенком безразличия:

— Как хочешь. Дело твое.

Когда Лиле исполнилось тринадцать, она училась в седьмом классе, отец заметил, что девочка сама не своя. Сначала Ушанский не понимал, что с ней происходит, он только видел, что она растерянна и сбита с толку, но уже к вечеру того же дня Лиля задала отцу вопрос, который расставил точки над *i*:

— Папа, у меня пошла кровь. Что это значит?

— Где? Откуда пошла?

Задав ответный вопрос, Толик тотчас осознал его глупость и сразу взял дочь за плечи. Последние годы он нарочно старался не замечать растущую у дочери грудь.

Больше всего отец боялся именно первых месячных, словно наперед предвидел, что именно с этого момента начнется их своеобразное отдаление друг от друга, основанное на не существовавшей ранее стыдливости, которая тут же неизбежно заявит о своих правах и разделит их обоих непроницаемой чертой.

Отец был в замешательстве, он не сразу смог дать вразумительный ответ, объяснить девочке, что все это значит, смущаясь тем больше, чем сильнее затягивалась пауза, повисшая после вопроса, пока наконец не выдавил из себя:

— Ты стала почти взрослой... твоё тело готово к материнству. Когда придет время, ты встретишь человека, с которым решишь создавать семью и родишь ребенка... пока к этому готов только твой организм, самой тебе нужно еще многому научиться... Не переживай, это происходит со всеми девочками... и будет с тобой происходить каждый месяц практически всю твою жизнь.

Еще несколько дней после случившегося квартиру обволакивала тяжеловесная и плотная тишина, основанная на растерянном ожидании и смутном предчувствии — в этой тишине звенело от траура и торжественности. Отец с дочерью даже избегали смотреть в глаза друг другу, просто оставались вместе в одном помещении — в комнате или на кухне, потому что молчаливая пауза, повисающая между ними в подобные минуты, невыносимо обжигала обоих. Потом, со временем, отцу показалось, что все вернулось в свое обычное русло, Лиля стала такой же живой, веселой и открытой, как прежде, только более осторожной в ласках, но иногда отец все же ловил задумчивые взгляды дочери и понимал: в голове девочки идет интенсивная мыслительная работа.

Около полугода Лиля осмысляла произошедшую с ней перемену, возможно, что-то читала об этом в Интернете. И наверное, уже к четырнадцати почувствовала себя взрослой, по крайней мере, начала вести себя так, будто стала взрослой, поэтому их обычные семейные обряды были теперь девочке в тягость, вся эта беспрестанная опека со стороны отца уже раздражала ее. Анатолий не мог не почувствовать враз возникнувшую дистанцию, которая как будто завершила процесс неизбежного разделения, начатого еще несколько лет назад. Ничего не в силах поделать, он думал, что так, наверное, должно происходить во всех семьях и, возможно, все родители проходят через подобное, пытаясь привыкнуть к новой и чуждой манере общения с налетом сдержанного холодка, такой нелепой и неуместной между двумя близкими людьми.

Постоянные хлопоты о быстро растущей дочери постепенно сводили на нет эту многословную рефлексю — прошедшие месяцы жизни изгладили ее и ошутимо приглушили. Мы привыкаем ко всему: к тому, что любимая одежда рано или поздно перестает подходить по размеру, к тому, что рано или поздно перестает подходить по размеру любимый человек.

На следующий вечер после работы отец снова, после многолетнего перерыва, привел Диану, они закрылись в комнате и стали заниматься квартальным отчетом. По квартире опять разносилось громкое сопение женщины, диван вновь стал скрипеть и ходить ходуном, издавать душераздирающие звуки, будто начался мебельный апокалипсис — мир столов, стульев и кресел в комнате Ушанских решил восстать и ополчился на своих хозяев. Судя по звукам, старый диван Анатолия возомнил себя гимнастическими козлами и, по меньшей мере, пытался теперь подняться на задние ножки, но у него никак это не получалось, хотя он усиленно старался, и вот от этих самых усилий по квартире разносились нестерпимые скрипы, скрежет, дребезжание и истерическая свистопляска.

Лиля уже не была ребенком, теперь она не играла в куклы и впервые понимала значение происходящего за дверью, мало того, сейчас она оглянулась с высоты сво-

его нового возраста на все эти прошлые приходы Дианы и пришла в бешенство. Девочка отправилась на кухню и стала громить посуду, разбивая тарелки об пол, а когда перепуганный, вспотевший отец с голым торсом выбежал из комнаты, стала швырять посуду и в него. Тарелки расшибались о стены и плевались осколками, Толик только успевал прикрывать голову и уворачиваться.

Закончив погром, девочка выбежала в прихожую, накинула на себя куртку, запрыгнула в ботинки, но выбежать не успела, отец обнял ее и стал успокаивать, а Лиля визжала и болтала ногами — у нее случилась истерика. Диана поначалу хотела помочь успокоить, принесла воды, но при виде ее Лилю охватило такое хрипящее, захлебывающееся неистовство, что она стала обрушивать со стен полки, опрокидывать стулья, перевернула журнальный столик, швыряла книги — отец перепугался уже не на шутку, Диана быстро ушла домой. И только после этого Лиля затихла, Анатолий сел рядом, гладил девочку по голове. Они остались в квартире, больше похожей на поле боя, чем на жилое помещение, сидели вдвоем на полу и просто молчали. Дочь до сих пор не отошла полностью, дышала слишком часто, с болезненными придыханиями. Отцу попалась на глаза книжка со сказками Ганса Андерсена, он читал ее дочери, когда она была маленькой, еще никаких Давидов и месячных не было и в помине, один только жадный интерес к нему — ее отцу как к средоточию всего ее мира, который он открывал для Лили, словно комнатную дверь. Теперь эта истертая книга лежала рядом, уткнувшись распахнутыми страницами в ковер, напоминая разбившуюся птицу, то ли упавшую с высоты, то ли сбитую лобовым стеклом. Не отпуская дочь, Анатолий дотянулся до корешка, зацепил его пальцем, подвинул ближе. Прижимая Лилю к себе, взял книгу в руки, стал листать, открыл сказку «Огниво» и стал читать вслух. Сначала Лиля не слушала, но потом сфокусировалась на словах, дыхание выровнялось, на минуту даже показалось, что скоро девочка уснет — так же, как тогда, когда затихала в своей кровати под звуки его голоса.

В тот вечер они примирились, правда, на следующее утро ужасающе не выспались: пока прибрали всю квартиру, легли часа в три ночи. Но наутро Анатолий не чувствовал усталости и слабости, он собирался на работу с легким сердцем, а когда выглянул в намороженный прямоугольник окна с белоснежной бахромой и льдистым вельветом на стекле, не увидев там ждущего обычно каждое утро Давида, его настроение разыгралось совершенно по-детски. Вернувшись домой под вечер, Ушанский даже припевал, он купил в магазине торт, а теперь, зная, как Лиля-сладкоежка обрадуется медовику, выжидал, когда же она выйдет его встречать, но дочка не выходила, в квартире было тихо. Успокаивало только то, что в прихожей стоял ее рюкзак — это значит, что после школы она точно вернулась, видимо, куда-то вышла. Отец набрал ее по мобильнику — телефонная трель в пустом коридоре дала красноречивый ответ. Отец достал забытый дочерью телефон из рюкзака и положил на стол, хотел на всякий случай прочитать ее сообщения и посмотреть последние исходящие-входящие, но телефон был под паролем.

Поставил торт в холодильник, разогрел себе ужин, поел и стал ждать, но Лиля не вернулась ни в восемь, ни в девять. Отец сорвался, быстро оделся и сам не свой стал метаться по окрестностям, искать дочь. Сначала переживал, потом ненавидел и клялся отхлестать ремнем, хотя ни разу в жизни не поднимал на нее руку, потом снова переживал, затем снова ненавидел, а уже ближе к полуночи отирал слезы и молил Бога о том, чтобы с ней все было хорошо. Скитаясь по темным переулкам и заглядывая в лица встречных, в зашторенные окна первых этажей, Анатолий почувствовал в кармане вибрацию, достал мобильник, нажал кнопку и приложил к уху:

— Папа, я уже дома. Куда ты пропал?

Эмоциональных сил, чтобы ругать дочь, у него не осталось, как и на то, чтобы радоваться. Сегодняшний вечер так измотал и обескровил его, что облегчения, оттого что дочь нашлась, уже просто не могло наступить. Анатолий вернулся домой, разделся, внимательно посмотрел в глаза дочери, пытаясь найти ответ в ее глазах, и увидел, что девочка не чувствует перед ним вины, наоборот, думает о чем-то совершенно другом, мало того, сильно расстроена этим другим, сильнее, чем отсутствием отца, которого она не застала дома.

— Как все это понимать, Лилия?

Девочка нахмурилась. Она знала: если отец обращается к ней полным именем, то быть скандалу.

— Ответь мне.

Дочь шмыгнула носом, по выражению ее лица стало понятно, что все это время она с трудом сдерживалась, и вот сейчас вопрос отца проткнул ее защиту, эмоции прорвали заслон лица, и Лиля зарыдала.

— Он меня не любит, он совсем меня не любит.

Напряженное лицо отца смягчилось.

— Боже мой, да кто?

— Дави-и-и-и-д! Он начал встречаться с этой дурой из девятого Б, она ему свои фотки обнаженные показывала, а я, как лохушка последняя, даже поцеловаться с ним не захотела, вернее, захотела, но побоялась... от волнения больше шуганулась, и он больше не пробовал, сразу на эту дуру переключился.

Анатолий стал постепенно приходить в себя. Давно с ним не случались такие американские горки: сегодня он в своих мыслях от полного счастья доходил до убеждения, что свою дочь увидит только в морге, и вот теперь слушает всю эту баснословную чушь и не знает, как на нее реагировать. Отец хотел сказать Лиле, что чуть не умер от ужаса, пока искал ее по ночным подворотням, но она ждала от него совсем иных слов, поэтому он пересилил себя и сказал:

— Послушай, милая, если он так легко переключился с тебя на другую просто потому, что ему там кто-то обнаженные фотки показал, значит, этому твоему Давиду вообще безразличен сам человек, его интересует только тело, а не внутренний мир, характер, индивидуальность.

— Но ведь так ведут себя все взрослые парни!

— Да нет же! Твои ровесники еще может быть, а в моем возрасте уже...

Лиля разозлилась, вцепилась в отца своими маленькими острыми пальчиками:

— Что в твоём возрасте? Квартальные отчеты начинаете составлять с девушками, больше вас ничего не интересует, типа?! За дуру меня держишь?

Ушанский на минуту растерялся от вопроса в лоб.

— Это другое!

Лиля скривила лицо.

— Конечно, другое, у вас же с ней платонические отношения были, тебе был интересен ее внутренний мир, характер, индивидуальность и такое все прочее!

— Нет, не в этом смысле... Я никогда не любил Диану, просто не мог же я всю жизнь быть один, это чисто физиологически очень тяжело, я живой здоровый человек, мне необходимо хотя бы иногда быть с женщиной... ты уже взрослая, и тебе пора понимать все эти вещи... После двадцати лет людям вредно слишком долго оставаться без близости, от этого со здоровьем начинают происходить разные нехорошие вещи, понимаешь? Это как слишком долго не ездить на велосипеде, оставить его в кладовке

на несколько лет, тогда он покроется пылью и начнет ржаветь. Но все это не значит, что мои прошлые встречи с Дианой идеал, к которому я стремился, нет, это просто робкая попытка спасти себя от одиночества... а для тебя сейчас очень важно научиться выстраивать серьезные отношения, быть с по-настоящему любимым человеком, потому что самое правильное, когда физическая близость с человеком происходит только в отношениях, все остальное — это либо такая безнадега, какая была у меня с Дианой, либо дешевый саморазмен... тебе не нужно ни то, ни другое, а твой засранец Давид хотел предложить тебе как раз один из двух этих вариантов, понимаешь? И нет ничего хуже, если ты начнешь свою... свою взрослую жизнь с таких отношений. Беги от этого Давида сломя голову.

Лиля молчала, ее лицо было непроницаемо, и девочка вслушивалась в слова отца, но нельзя было понять, какие выводы она из всего этого делает, пока наконец ее не прорвало:

— Папа, все гораздо-гораздо проще! Просто я страшная, да-да, я веснушчатая страхолюдина, вот и вся загадка...

— Кто тебе сказал эту чушь? Одноклассники-дебилы?

— Это неважно.

— Нет, важно! Важно! Ты так говоришь, как будто я в свое время не учился в школе и не помню всего этого идиотизма... Школьные годы — это настоящий хаос... Сброд беспощадных недоумков, каждый из которых только и ищет способ принизить кого-нибудь, чтобы самоутвердиться. Нашла кого слушать!

— Только не надо учить меня жизни, па!

Лиля зажмурилась, а потом положила ладони на глаза, как будто пыталась спрятаться. Отец взял ее за руки и стал осторожно отводить ладони от лица своей дочери.

— Перестань! Я не учу тебя жизни, мы просто разговариваем, я сказал, что думаю насчет твоего Давида... я не только с высоты своего возраста...

— С высоты своей древности, — перебила дочь.

— Своего возраста! Я говорю прежде всего с точки зрения своего пола, да, как мужик, как тупой безмозглый самец понимаю своей худшей и животной частью твоего Давида, как никто другой понимаю, ведь я тоже был подростком, да чего уж там, сейчас тоже не особенно далеко ушел... когда желание бьет по мозгам, думать можешь с трудом... а в возрасте Давида по мозгам бьет особенно сильно, гормональные бури и отсутствие мозгов очень ядреное сочетание... потому лично для меня очевидно, почему он предпочел тебе твою более раскрепощенную подругу, ему чем доступнее, тем лучше сейчас...

— Она мне не подруга!

— Да неважно, кто она там тебе... Дело не в этом, а в том, что если бы ты себя подстраивала сейчас под потребности этого Давида своего, ты бы просто себя как человека потеряла, он бы тебя потрепал, тело твое... использовал и точно так же переключился бы на другую, неужели не понимаешь? И тебе бы еще хуже было. А так ты, по крайней мере, себя не отдала этому малолетке, не разменялась, при себе осталась...

У Лили снова начался приступ плача, на щеках заблестели слезы, она смотрела красными опухшими глазами сквозь них, сквозь поверхность этой соленой воды, как через увеличительное стекло, становясь еще более близкой, трогательной и хрупкой. Глядя на дочь, отец, с одной стороны, страдал вместе с ней, а с другой — радовался, что Давид больше не прикасается к его девочке, что он лишился права на нее, стал далеким и чужим, нейтральным. Мысль, что кто-то может обладать телом дочери, была слишком тяжела, поэтому, избавившись от нее, Ушанский почувствовал долгожданное облегчение.

После того как Лиля переболела Давидом, отношения отца и дочери постепенно стали выравниваться, а та самая идиллия, что давно была утрачена, почти вернулась. Анатолию казалось даже — все, ушло безвозвратно, поэтому не верил теперь своим глазам и ощущениям, но нет, стоило оградиться от мира, от работы, телевидения, новостной ленты соцсетей, уличного шума, магазинных очередей, и вот оно, то самое: вслушиваешься в себя, заглядываешь в глубину собственного «я», в глаза любимой дочери и понимаешь: в ее зрачках ты, в твоих — она, вы наконец едины, как прежде, слиты и крепко сбиты друг с другом, все-таки вернулись к своим истокам, к чему-то первозданному и нетронутому, к этой маленькой священной обители неполной, но по-своему очень счастливой семьи. Сакральное щемящее тепло душевной близости согревало и будоражило, а ликующая радость полного взаимопонимания давала ощущение надежности и прочности дня сегодняшнего и завтрашнего. Единственное, чего не хватало Ушанскому — возможности почувствовать себя мужчиной, даже на том примитивном и смазанном уровне: «я мужик», на каком это давала его бывшая любовница Диана.

Через несколько лет эту идиллическую удовлетворенность отца стало отравлять чувство вины — вины за свою радость в несостоятельности личной жизни дочери, в ее неуспехе. И дело было даже не в этой детской влюбленности в Давида — отец понимал: это не любовь, а первая встреча влажного щенячьего носа и радостно виляющего хвоста его дочери с окружающей действительностью, что это беззащитный восторг перед первым встречным смазливый и мало-мальски неординарным парнем, о котором сейчас она уже забыла, дело было прежде всего в том, что годы шли, Лиля окончила школу, и отцу очень тяжело дались ночные слезы девочки, мечтавшей о выпускном, как о своеобразной брачной ночи. Ушанский видел, что его дочь очень много ждала от окончания школы, она была уверена, что в ее жизни должна случиться большая любовь, страсть, и когда ничего, кроме самой прозаической попойки, не произошло, Лиля стала более холодной и замкнутой, будто обманутой и затаившей на жизнь серьезную обиду. Периодами она выкарабкивалась из своей депрессии, находила отдушину в любви отца, который один умел спровоцировать ее смех, а главное, был для нее единственным человеком, способным заглушить в ней ощущение, что она одна в мире — то же самое чувствовал и отец, понимая, что после смерти его матери дочь — единственное живое существо, лежащее в фундаменте его жизни, все остальное — просто нагромождение ничего не значащих подробностей и формальностей. Особенно им обоим нравилось уезжать куда-нибудь вдвоем: шляться по городу или отправляться за город — неважно; важно лишь то, что они оба не сошли с ума от беспросветной обыденности своего бытия только благодаря друг другу.

Стремительно взрослеющая дочь поступила в университет, а отец продолжал наблюдать ее одиночество и те метаморфозы, которые оно претерпевало на протяжении школы и университета, как оно перетекало от бурных истерик к какому-то одеревенению и оцепенению. Девочка забралась в толстостенный кокон, сотканный из книг, сессий, спорта, подруг, но по каждому ее движению, взгляду, по глазам, отливающим свинцовой тоской, и небывалым всплескам раздражительности было ясно: дочь одинока ледяным и мучительным одиночеством, поэтому чем дружнее и исповедальней были их с ним отношения, тем сильнее накрывало чувство вины. Отец понимал, что виноват перед ней, ведь его девочка до сих пор не впустила в свою полнотелую жизнь прежде всего потому, что у них за плечами такой болезненный опыт взаимной ревности. По крайней мере, за себя Анатолий Борисович мог сказать совершенно точно: в его жизни после коллеги Дианы за семь с лишним лет были только две проститутки-индивидуалки и одна особа с сайта знакомств, к которой он несколько

раз приходил домой. Отец избегал попадаться на глаза дочери с другой женщиной, не хотел причинять ей боль, а еще его душил страх в связи с тем, что их прекрасный, гармонический и счастливый мир может быть разрушен. Можно было не сомневаться: в душе дочери происходило то же самое, и каждый из них в отдельности становился тем более одиноким, чем в большей степени они сближались — эта близость превращалась в зависимость.

К тому времени, когда выпускница Лиля достигла красного диплома, Анатолий Борисович тоже не стоял на месте: простатит, гипертония и варикоз, не говоря уже про должность старшего продавца, цветасто украсили его стремительно скатывающиеся к пенсии будни. Но самое неприятное заключалось в другом: получив красный диплом, окончив бесплатное отделение престижного вуза, дочка будто все равно решила идти по стопам отца, то есть в том смысле, что не стала хватать звезд с неба и подалась в официантки. Поначалу оправдывалась тем, что не находит ничего достойного своим запросам и это просто временная мера, а через несколько месяцев уже даже не оправдывалась, только молчала, как-то очень нервно, с частым морганием и покусыванием своих пухлых, возможно, еще не целованных губ. Примерно тогда же в ее жизни появился первый мужчина — бармен Гоша. Отец очень боялся, что его двадцатидвухлетняя неопытная девственница-дочь наломает дров, непременно либо забеременеет в первый же свой раз, либо подхватит какую-нибудь заразу, поэтому Ушанский пытался делать в разговорах с ней ненавязчивые маневры, напоминавшие параграфы из учебника по ОБЖ.

Сидели за завтраком, отец прожевывал бутерброд, попивал свой кофе, Лиля ела хлопья с молоком, громко ударяя столовой ложкой о тарелку.

- Девочка...
- Оу?
- Я хотел бы поговорить с тобой об отношениях с мальчиками.
- Пап, вот только не про это, давай не будем!
- Ты знаешь, что флора каждого человека содержит большое количество бактерий, половые инфекции очень распространены сейчас, вероятность их содержания даже в слюне очень велика...
- Папа! Я же ем!
- Ну и что? Мы с тобой в последнее время только за столом и можем поговорить. Оба целыми днями на работе...
- Слушай, ну мне все-таки не пятнадцать.
- Ну и что? И не смотри ты так на меня. У тебя совсем нет опыта, возраст здесь неважен, так что считай, что как будто пятнадцать... ты сама ведь признавалась, что не было... Или уже было все-таки?
- Ну допустим.
- Что допустим?
- До сих пор еще не было. Но скоро будет.
- Лилия! Не надо так говорить.
- Как?
- Так, как будто ты мне угрожаешь... Или даже шантажируешь.
- Я не угрожаю. И тем более не шантажирую. Просто дала понять, что рано или поздно это уже должно произойти, мне двадцать два, в конце-то концов... у некоторых подруг уже дети есть, а многие лечатся от хламидиоза и генитального герпеса, я одна до сих пор, как монашка...
- Ты так говоришь, будто подхватить какую-нибудь гонорею так же почетно, как стать матерью.

- Нет, я просто к слову. К тому больше, что я как-то очень скучно живу.
- Я вчера его видел.
- Кого?
- Он тебя с работы провожал.
- А, Гоша? Гоша — наш бармен. Гоша хороший.
- У меня в детстве попугай был, он умел ту же самую фразу произносить... Я бы не стал доверять бармену.
- А официантке?
- Не язви.

— Да потому что не надо этой дешевой дискриминации... Профессия — это просто профессия. Не все качки тупые, не все официантки — дуры. Вот хоть меня возьми, например, за плечами бюджет и красный диплом. И что? И ничего, не обломилась, подай-принеси, зато за один месяц выходит, как у тебя четыре зарплаты.

— Послушай, я же серьезно с тобой говорю... хочу обсудить с тобой важные вещи. Мужская психология она такая... Ведь ты совсем ее не знаешь. Тебе только предстоит через все это пройти, опыт дается только через боль, через большое количество ошибок. А я не хочу, чтобы ты ошибалась и училась потом на своих слезах.

— Пап, ты только не переживай, я знаю золотое правило: главное — предохраняться, а все остальное образуется.

Отец поперхнулся.

— И откуда в тебе столько житейской мудрости-то вдруг? Подруги хламидиозные научили?

— Они в том числе, но главным образом женские блоги.

От подобных разговоров отцу не становилось легче, но все-таки женские блоги несколько обнадеживали, как и генитальный герпес подруг дочери, в том смысле, что Лиля была отчасти вооружена хоть не своим, но, по крайней мере, чужим опытом, поэтому в какой-то момент отец сдался:

— Ну хорошо, так тому и быть. Ты действительно уже взрослая девушка и сама всё...

— Да, сама всё.

Через четыре месяца после этого разговора Анатолий Борисович узнал, что его двадцатидвухлетняя дочь Лиля, выпускница престижного вуза, получившая красный диплом и подававшая столь большие надежды, забеременела от восемнадцатилетнего бармена Гоши, который жил с родителями.

Отец и дочь опять встретились на кухне: так, как если бы кухня являлась их переговорной. Лиля сидела, потупив взор, а отец, заложив руки за спину, как военачальник, нервически вышагивал: два шага вперед, потом два назад — большего размаха не мог позволить метраж их квартиры, поэтому Анатолий Борисович напоминал дикое животное в зоопарке.

— Ради всего святого! Дочь! Мать твою, Лиля! Как ты могла? Как?! Где было твое золотое правило, где были эти женские блоги?!

— Он порвался, — дочь ковыряла пальцем столешницу, передвигала хлебные крошки, залезала ногтем в щели, выковыривая оттуда скопившуюся грязь.

Отец резко остановился посредине кухни и уставился на дочь:

— Кто, Боже мой?

— Презерватив...

Отца даже затрясло от бешенства, он хотел разбить что-нибудь из посуды, даже взял в руки суповую тарелку, но потом подумал, что их и так всего две, а значит, придется покупать новую — на лишние расходы денег нет совсем. Тем более Анатолий Борисович понимал: если разобьет хотя бы одну вещь, то не сможет остановиться, будет

слишком силен соблазн расколошматить все содержимое посудного шкафа, как это однажды уже сделала его дочь.

— Где этот идиот? Почему я до сих пор с ним даже незнаком, почему мы даже не разговаривали ни разу?!

— Не называй его так. Он не идиот, Гоша хороший, он наш бармен.

— Я спрашиваю, где он?

— Гоша в военкомате, его забирают в строительные войска.

Отец не удержался и все-таки разбил вдребезги суповую тарелку об стену, схватил вторую и пустил ее следом. Осколки полетели во все стороны, Лиля накрыла голову руками. Глядя на него со стороны, было не до конца ясно, что все-таки для Анатолия Борисовича Ушанского стало последней каплей: то, что его будущего зятя забирают в армию, или все дело именно в строительных войсках...

Родился мальчик, назвали его почему-то Ярополком. Оказывается, Гоша-хороший симпатизировал родноверам и время от времени почитывал разные неоязыческие брошюры и сайты, правда, сам Анатолий Борисович узнал об этом только заочно, через свою дочь, которая объявила отцу, что его внука будут звать именно так, потому что это решение ее будущего супруга. Отец не стал спорить, у него не осталось особых сил на сопротивление, работа и нехватка денег сильно изматывали, а тут еще подобные сюрпризы. Первое время еще выручали накопления, которые сделала Лиля за время работы официанткой, они частично перекрыли основные расходы, связанные с беременностью и родами, сам Ушанский в одиночку всего этого попросту не потянул бы. Но вскоре их ресурс был исчерпан, Лиля сидела в декрете, родители Гоши-хорошего не хотели помогать до тех пор, пока не будет сыграна нормальная свадьба, «чтобы все как у людей», поэтому пока его будущий зять рыл окопы, строил казармы, склады, столовые и дачи для своих полковников и генералов, Анатолий Борисович нянчился с внуком, купал его в ванночке, делал присыпки, мазал нежное тельце детским кремом, менял подгузники и думал о том, как бы им втроем не загнуться на одну его зарплату. Не имея времени даже на то, чтобы наконец долечить уже свой простатит, Анатолий Борисович не мог себе позволить даже такой роскоши, как просто подумать о собственном здоровье — все его время, все силы и мысли принадлежали только Лиле и внуку. Впрочем, младенец все равно не давал спать ночами, он постоянно кричал и плакал, поэтому тот факт, что приходилось из-за простатита по пять-семь раз за ночь ходить мочиться, нисколько не отравлял Ушанскому жизнь, ребенок все равно не давал бы спать. Проблемы с эрекцией тоже не могли особенно угнетать, в силу старого неизменного принципа: нет секса — нет проблем. В этой устоявшейся безнадеге утешало только наличие материнского капитала, да и надежда на то, что родители Гоши добавят энную сумму, после чего можно будет приобрести для молодых однокомнатную квартиру, по крайней мере, взять в ипотеку.

Ушанский проснулся как-то утром с тяжелой головой, как с похмелья, от систематического недосыпа разлепить глаза смог только благодаря сверхчеловеческому усилию, мысли путались. Нужно было вставать, собираться на работу, но голова Анатолия Борисовича льнула к подушке, как намагниченная.

А в мыслях колобродило:

«Надо вставать... встань! Могло быть и хуже. Нет, не все так плохо... И пускай даже по утрам я не чувствую себя мужиком, пускай я сплю пару часов в сутки, отчего мой мозг скукожился, и я почти не способен на мысль, во мне остались одни рефлексy и легкий нервический шорох, какие-то помехи, пускай Гоша-хороший свалил в свой сраный стройбат и его родители знать нас не знают, а моя дочь получила красный ди-

плом, но работает официанткой, да, и пусть нам не на что жить, потому что сейчас она в декрете, за который ей не платят, потому что в ресторане она получала черную зарплату, а моего дохода нам в свое время едва хватало даже на двоих, и сейчас я не знаю, не знаю, не знаю, как мы будем жить... и пускай моего внука назвали Ярополком, зато моя дочь получила материнский капитал, она сможет потратить его на пятнадцатилетнюю или двадцатилетнюю ипотеку и погасит ее годам к сорока трем, когда меня уже, наверное, не будет в живых».

Этим утром Ушанский подумал о необходимости все-таки вырваться к врачу, не затягивать уже больше и долечить в конце концов свой злополучный простатит, который в их поликлинике даже диагностировать нормально не смогли, не говоря уже про лечение: Анатолий Борисович даже не знал, бактериальный у него или абактериальный — попался слишком бестолковый уролог, но сейчас не было ни денег, ни времени на то, чтобы найти другого специалиста в нормальной платной клинике, так как Ушанский взвешивал каждую копейку, распределяя свою зарплату таким образом, чтобы прежде всего закрыть потребности внука и дочери, а не свои. Вместе с тем он слишком хорошо понимал: стоит вылечить свой недуг, как вернется сексуальное желание, что обрекает его на еще большие расходы, чем те, которых потребует лечение. Нет, здоровая эрекция и сексуальное желание — сейчас слишком большая роскошь для него, поэтому поход к урологу Анатолий Борисович откладывал до лучших времен.

Когда Ярополку исполнился год, Ушанский стал задаваться невольным вопросом, связанным с возвращением Гоши-хорошего из армии, — поначалу только вопросительно поглядывал на Лилю, но наткнулся на непрошибаемую беззаботность увлеченной матери, поэтому однажды не выдержал и задал прямой вопрос:

— Послушай, дочь, а где там наш стахановец, он там в порядке вообще?

— Ну да, а почему ты спрашиваешь? — глядя, как Лиля переодевает мальчика, счастливая и беззаботная, без тени сомнений и тревог на лице, отец невольно начинал раздражаться ее спокойствием, но стоило подумать о том, сколько расходов и сил им обоим потребуется, чтобы прожить с Ярополком еще один год, Ушанский снова начинал нервничать и злиться.

— Потому, что сейчас уже давно по году служат, а он год с лишним уже не появляется. Это как понимать?

Лиля отвлеклась от сына, замерла, в коем-то веке в ее чертах проглянула тень тревоги, некоторое время девушка переваривала полученную информацию, было видно, что она несколько напряглась, но потом лицо вдруг резко снова просветлело.

— Я недавно с ним по телефону говорила, он сказал, они два года служат, так что вернется через восемь месяцев. Видимо, в стройбате до сих пор по два года.

— Сейчас даже в морфлоте один год служат! Что за чушь?!

Лиля была невозмутима.

— В морфлоте год, а в стройбате два. По-моему, это же очевидно, для того, чтобы строить, нужно гораздо больше квалификации, чем для того, чтобы просто плавать...

— Дочь моя, что за ересь ты несешь?! Когда этот придурок успел так запудрить тебе мозги?!

— Не кричи на меня! И не смей оскорблять его. Гоша — хороший, он наш бармен и отец моего сына.

Отец хотел было разбить что-нибудь, даже взял в руку кружку с двумя изображенными на нее котятками, но потом понял, что звон разбитого стекла разбудит Ярополка, который сразу же зарыдает, а каждый раз, когда его внук начинал плакать, Анатолию Борисовичу казалось, что кто-то ножовкой делает у него в черепе глубокий пропил.

В голове созрел план. Отец сразу успокоился и поставил кружку на стол.

— Ладно, два года так два. Пусть парень служит спокойно. Но в любом случае мне нужно поговорить с его родителями на тему приготовлений к вашей свадьбы, все-таки не за горами все, надо бы обсудить ряд вопросов и расходов. Дай мне их адрес, пожалуйста, и номер телефона отца.

— У меня только Гошин... А адрес, хорошо, сейчас напишу.

Получив адрес своего будущего зятя, Анатолий Борисович в первый же выходной отправился к родителям Гоши-хорошего. Долго добирался на троллейбусе, потом пересел на маршрутку. Смотрел в окно на серое пустынное небо, похожее на бумажную обертку. На улице царила промозглая и дребезжащая хмарь, снег, похожий на хлорку, хлестал стекло и лица пешеходов. Из-за обрыдлых, невыносимо серых пяти- и шестнадцатизэтажных панелек линия горизонта была недосыгаема и незрима, ее как бы не существовало — существовал лишь вселенский спальный район, в котором жил Ушанский и все горожане, этот необъятный район, казалось, раскинулся на мириады километров, и потому не было ему ни конца ни края. От тоски Ушанскому хотелось съесть свою шапку, но он ограничивался только тем, что просто скрестил пальцы у себя на коленях и зевал.

Со стороны непонятно, что творится у него на душе — обычный среднестатистический работяга, маленький скромный человек мещанской наружности, доживающий свою тусклую, серую и унылую жизнь.

Оказавшись на месте, Ушанский поднялся на четвертый этаж и позвонил в дверь. Ему открыл пузатый мужик в обтягивающей белой майке и спортивных трениках с отвисшими коленями. При виде Ушанского мужик почесал брюшко, икнул и сразу же с порога выпалил:

— Нет, нет, я в Бога не верю, не надо мне ваших книг, оставьте меня в покое, мать вашу.

Мужик хотел было уже захлопнуть дверь, но Ушанский подставил ногу.

— Я дед нашего с вами внука.

Дверь снова приоткрылась, отец Гоши-хорошего остолбенело смотрел на Ушанского, который сам был в шоке и никак не мог оправиться от той околесицы, которую только что сморозил. Сложно было сказать, почему фраза сложилась именно таким образом. Некоторое время оба молча переваривали информацию.

— Это как?

— Ваш сын Гоша уже дембельнулся?

— Откуда?

— Из армии. Из стройбата.

— Мой сын Гоша никогда не пойдет в армию, он что, с дуба рухнул?! Еще и в стройбат. Гоша учится в университете, уже на втором курсе. Гоша — хороший и у него большое будущее... Какая еще армия, вы что, совсем охренели, мать вашу?

Анатолий Борисович шмыгнул носом, ему хотелось сделать какую-нибудь гнусность, например, прописать с ноги в дверь, чтобы она ударила мужика в лоб, а потом поджечь квартиру.

«Так, нет, все по порядку, сначала надо найти Гошу-хорошего и отвесить ему воспитательных люлей, а потом вернуться сюда и отомстить зло и беспощадно».

— Вы в курсе, что ваш сын пацана моей дочери заделал? Ему скоро год исполнится.

— Первый раз слышу. Вы ошибаетесь, мой сын очень добрый и хороший, он меня никогда не обманывал. И вообще никого. Гоша никогда не стал бы оставлять девушку одну с ребенком, это против его принципов.

— Он сейчас дома?

— Нет, он, как в университет поступил, сразу уехал.

— А университет какой?

— Не твое собачье дело.

— А ну-капусти, урод, я не уйду, пока не разберусь во всей этой канители.

Мужик в дверях снова почесал брюхо. В эту минуту Анатолий Борисович понял, что так отец Гоши-хорошего делает, когда начинает о чем-то интенсивно думать.

— Ты тупой? Я сейчас мусоров вызову. А ну вали отсюда на ..., а то по кумполу получишь.

— Мусора — это очень кстати, я заодно накатаю заявку на то, что твой сын уклоняется от своих родительских обязательств.

— А что, есть такая статья?

После этого вопроса Анатолий Борисович сам засомневался, но быть не только отцом-одиночкой, но еще и дедом-одиночкой ему совершенно не хотелось, поэтому он соврал:

— Конечно, есть. Три года лишения свободы в колонии общего режима или пять лет условно.

Ушанский тут же понял, что прозвучало это очень солидно и сейчас его обязательно впустят, после чего состоится конструктивный разговор с родителями, а потом и с сукиным сыном, Гошей-хорошим, после этого все они подключатся к воспитанию и содержанию Ярополка, после чего его дочь будет жить с этим засранцем долго и, возможно, даже счастливо, пока смерть не разлучит их обоих.

— Сейчас, одну минуту.

Мужик прикрыл дверь, оставив только узкую щель, потом резко распахнул ее, и с порога в лицо Анатолия Борисовича полетела сочащаяся коричневой жижей половая тряпка. Ушанский успел увернуться и прикрыть голову, но от тряпки летели брызги, поэтому вся одежда, лицо и руки были в грязи.

— А ну сдриснул отсюда, гамадрил-недоумок!

Ушанский дернулся было к двери, чтобы отомстить за тряпку, но та захлопнулась перед ним с сухим и равнодушным безразличием. Анатолий Борисович пнул в дверь с разбега, но она уже закупорилась на замок, поэтому даже не дернулась, только дверной косяк немного хрустнул. Ушанский вышел на улицу, поднял в подворотне увесистый осколок кирпича, поднял глаза к окну на третьем этаже, замахнулся и бросил, но в ту самую минуту, как кирпич разможил стекло, Анатолий Борисович вспомнил, что Гоша-хороший все-таки живет на четвертом. Через несколько секунд в разбитое окно выглянула перепуганная старушка, которая схватилась за голову и стала издавать душераздирающие завывания.

Анатолий Борисович, будучи вполне интеллигентным и воспитанным человеком, виновато развел руки и принял покаянный вид:

— Пожалуйста, простите меня, не кричите, ради Христа, успокойтесь, я все компенсирую. Я вставлю вам новое окно, вы слышите? Не переживайте, пожалуйста, я просто ошибся квартирой, понимаете? Я думал, у вас Гоша-хороший живет.

— Милиция! Помогите! Помогите-и-ите, грабят! На помощь! Здесь сумасшедший маньяк!

Ушанский почувствовал себя идиотом, стал озираться, из окружающих окон выглядывали любопытные физиономии, на балконы стали выходить мужики в трусах и кальсонах, женщины в банных халатах. Безжизненный и сонный поначалу дом, не подающий никаких признаков жизни, оживился и стал походить на муравейник после

того, как в него засовываешь палку и делаешь смачный раскардаш. И тут этажом выше над старушкой с разбитым окном, только не по вертикали, а на одно окно по диагонали правее, из-за шторки появилась знакомая физиономия мужика. Ушанский схватил еще один кусок кирпича и замахнулся, пожилая женщина сразу завизжала, перекрестилась и бухнулась на пол. Окно Гоши-хорошего громко хрустнуло, стекла посыпались по карнизам. Торжествующий Ушанский дал деру, чувствуя себя подростком. Из двух разбитых окон следом доносились проклятия: теперь кричала не только старушка, но и отец Гоши-хорошего, который проклинал Ушанского благим матом.

Первым делом Анатолий Борисович отправился в бар, где работала его дочь до декрета. Он понимал, что поступивший в институт Гоша-хороший едва ли мог еще здесь подрабатывать, но это было единственным местом, где можно было получить какую-то информацию о своем недозяте. Когда вошел в бар, обратил внимание, что люди на него оглядываются. Ушанский повернул в туалет и остановился перед зеркалом. Ожидал увидеть себя в грязи, но, к своему удивлению, обнаружил только небольшие разводы на лице и руках да мелкие червоточинки капель на одежде, значит, оглядывались по другой причине. Ушанский внимательнее вгляделся в свое отражение и понял, что у него совершенно безумный вид.

«Да, все дело в этом. Может быть, я на самом деле безумен?»

Анатолий Борисович умылся ледяной водой, громко фыркая, будто у него был утренний туалет. Отерся бумажными полотенцами и вышел в зал, подошел к барной стойке. Гоши-хорошего там, понятное дело, не было. За стойкой натирал бокалы лысый парнишка нагловатого вида, с пирсингом в брови, татуировкой на шее, на уровне кадыка надпись маленькими печатными буквами: «Inside of me». По возрасту лет двадцати, в глазах легкий оттенок презрения и недюжинного снобизма, неведомо чем простимулированного. Глядя на него, казалось, что работа барменом, пирсинг в брови и татуировка на шее — это невесть какие жизненные достижения и заслуги. Анатолий Борисович понял, что бармен так смотрит на него, потому что привык к более породистой и денежной публике, а дешевое шмотье Ушанского и весь его непрезентабельно-взломаченный вид выдают в нем то самое, чем он в социальном смысле слова и являлся — старший продавец-консультант салона мобильных телефонов, живущий на одну зарплату с дочерью и внуком. Взгляд бармена был ему неприятен, он будто бросал Ушанскому вызов, вынуждая заказать самого дорогого вискаря, чтобы оправдаться и стряхнуть с себя ярлык нищетограда-неудачника, который на него насильно нацепили.

— А вот кукиш тебе! Не буду, понял?!

Бармен опешил от неожиданности слов, которые прокричал тот, кто поначалу несколько даже робко подошел к стойке. Бармен немного тухнул от этого резкого перехода — от робости к крику, поэтому подался назад, подальше от стойки, но Ушанский предвидел его движение, так что успел схватить парня за ворот рубахи и потянуть на себя. И заорал ему в лицо, стискивая его в своих насильных объятиях все более безжалостно:

— Заказывать твой «Русский стандарт» и «Чивас регал» я не буду, понял?! И чаевых тебе не оставляю, скотина! А уважать себя заставлю, понял меня? Бесплатно, просто так будешь меня уважать, понял, сопляк?! Как у Пушкина в «Евгении Онегине», ну-ка скажи мне первые строчки из бессмертного романа в стихах!

— Я не читал... Отпусти, мужик, пусти, кому говорят. Ты че, из ума спятил, че ли?!

— Ах он не читал...

Ушанский принялся его нервно трясти, теревить и толкать из стороны в сторону, то тянуть на себя и, соответственно, ронять на стойку, то от себя, потом снова дергать

назад, после чего схватил его одной рукой за ухо, которое принялся выкручивать, словно пытался прибавить громкость радиоприемника.

— А-а-а-а-а!!! Больно, мужчина!!! Уважаемый!!! Пустите, пожалуйста!

— Не читал он... Ну-ка повторяй за мной: «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог...» Повторяй, дурень, а то нос откушу! Я псих, у меня уже несколько лет член не стоит, моего внука зовут Ярополк, и мне уже ничего не страшно, ты понял? А ну повторяй, кому говорят!

— Мой дядя-я самых честных... честных правил, когда не в шутку занемог...

— Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог.

— Он уважа-а-а-ть себя заставил... и лучше... и лучше выдумать не мог... ой, больно!

— Так-то! А теперь скажи: заставил я себя уважать или нет?

— Пустите! Вы, это... хорош, слышите? Вы че, вообще, але? Пустите, кому говорят!

Мне дышать трудно.

Ушанский ослабил хватку.

— Меня зовут Анатолий Борисович! Ты понял, сосунок?! Обращаться на «вы»! Ну-ка повтори мое имя, но только с уважением повтори!!!

Бармен пытался вырваться, но хватка была мертвой. Ушанский держал насмерть, как будто от этого зависела его жизнь. На происходящее уже сбежались все официантки, которые смотрели раскрыв рот.

— Повторяй, салага!

— Вас зовут Анатолий ...рисыч!

— Не рисыч, а Борисович!

— Анатолий! Борисович!

— И ты меня уважаешь! Я уважать себя заставил.

— И я вас уважаю. Да, заставили. И сделать лучше не смогли.

— Не сделать, а выдумать!

— Да, да, выдумать.

— А за что ты меня уважаешь? Я же не заказал у тебя «Русский стандарт» и черную икру, а? Так за что?

— Потому что вы меня старше. И у вас жиза сложная.

Лицо Ушанского просветлело.

— Молодец, зришь в корень! А еще?

— Потому что вы Пушкина наизусть знаете.

— Хватит лизать мне жопу, первый ответ был более искренний! Потому что тебе насрать на Пушкина...

Лицо бармена было налито кровью, ухо и вовсе просто сочилось багряным соком. Парень часто дышал, из носа текли сопли, глаза тоже слезились. Анатолий Борисович продолжал крепко держать бармена за грудки, наклонив его в неудобное положение, да и ворот рубахи парня сильно сдавило, поэтому его дыхание действительно было сильно затруднено.

— Чихать ты хотел на Пушкина, он для тебя не авторитет. Ты больше по Моргенштерну¹, наверное, какому-нибудь, да? Инстасамка, Слава КПСС, тик-ток, туда-сюда, ага?

Анатолий Борисович опять сжал ухо.

— Дяденька, отпустите, пожалуйста, мне очень больно, я дышать не могу...

Ушанский отпустил бармена и оглянулся в зал. За столиками сидели люди с белыми вытянутыми лицами, похожими на маски из театра но, да и официантки больше напоминали развешанные вокруг простыни.

¹ Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

— Ладно, живи. Дети — цветы жизни, наше будущее и все такое прочее... Тебе еще целую жизнь прожить надо, это я вот концы с концами свести пытаюсь... И что-то с трудом получается. Короче, я пошел. Мораль нашей встречи ясна?

— Да.

— Скромнее надо быть, молодой человек. Это для начала, а там дальше остальному жизнь научит, я надеюсь... На самом деле на твоём месте должен был быть сейчас совсем другой человек. А ты просто спровоцировал меня своим презрительным взглядом. Жизнь прожить — не поле перейти. Я столько выстрадал не для того, чтобы на меня первый встречный мальчик сверху вниз смотрел, понял?

— Понял вас, Анатолий Борисович.

— А так я хотел потрепать Гошу-хорошего, он тут не работает больше?

— Бобровский, что ли?

— У него Бобровский фамилия? Это тот, который к моей дочери клинья подбивал, провожать ее ходил после работы. Лиля официанткой тут работала, пока не забеременела.

— Так вы отец Лили? Ясно... Да, Анатолий Борисович, Бобровский у него фамилия... так он это... как Лиля забеременела, сразу в Москву свалил, поступил там куда-то, я не знаю, честно... Мы с ним мало общались, только на работе иногда пересекались, в одну смену если ставили.

Бармен засуетился, было видно, он боится, что его опять могут схватить за шиворот и начать мусолить на глазах всего заведения.

Ушанский задумался.

— Ладно, верю. Все, будь здоров.

— Всего доброго!

Анатолий Борисович вышел из бара, игнорируя дикие взгляды, которые на него бросали гости и переполошившиеся официанты, хостес и менеджер — последний все это время держал в руках телефон, будто собирался куда-то звонить, но то ли ждал, чем кончится, то ли слишком растерялся, поэтому дальше потряхивания смартфона дело не зашло. Ушанский беспрепятственно вышел на улицу и направился к остановке. Шел приунывшим и пришибленным. Во-первых, потому, что Гоша-хороший был для него недосыгаем: Анатолий Борисович даже не смог бы найти сейчас деньги на билет до Москвы, не говоря уже о полноценной поездке с проживанием и обратной дорогой. А во-вторых, стало ясно, что от его родителей ничего конструктивного не дожидаться.

Вернувшись домой, Ушанский помыл руки и сел за стол. Лиля встретила его в дверях. По виду отца сразу поняла, что он полон вестей, а день его — происшествий. Лиля разогрела суп и налила отцу тарелку, затем стала готовить чай и резать хлеб. Она старалась не смотреть на отца, было видно, что в ней затаился страх перед той вестью, которую он принес в дом. Анатолий Борисович понимал это, но не знал, как можно смягчить действительность, поэтому решил рубить сплеча:

— Твой Гоша-хороший на самом деле редкостный гондон. Его даже не забирали в армию, он поступил в университет и переехал в Москву, а все это время просто вешал тебе лапшу на уши. Родителям его тоже на нас... с высокой колокольни, как говорится. Но ты не переживай. Мы и вдвоем Ярополка на ноги поставим. Я на выходные начну какую-нибудь халтуру брать, а еще лучше уйду из своего дурацкого магазина и устроюсь курьером, там если вкалывать, можно вполне ощутимые деньги зарабатывать...

Лиля поставила перед отцом тарелку с супом, хлеб и зашмыгала носом. Отец поднял на нее глаза, у него к горлу подступил ком, но он ничего больше не добавил, чув-

ствовал, что голос будет сильно дрожать и непременно сорвется. Все, что он сказал, он выпалил быстро, зная, какие эмоции все это вызовет в его дочери, и хотел проскочить этот момент как можно стремительнее. Лиля тоже не могла подобрать нужных слов, тем более что слова — последнее, что было сейчас необходимо им обоим, и прежде всего ее сыну, маленькому Ярополку.

На следующее утро Анатолий Борисович действительно зарегистрировался как курьер. Установил необходимые приложения и заключил договор, затем написал заявление по собственному желанию и уволился из магазина сотовых телефонов. После смены работы финансовая ситуация ощутимо изменилась к лучшему. Правда, Анатолий Борисович еще больше не высыпался, работал семь дней в неделю, но учитывая, что Лиля научилась ухаживать за ребенком и справлялась в течение дня с этим одна, Ушанский, по крайней мере, не разрывался между внуком и необходимостью зарабатывать деньги, полноценно отдавался обеспечению их троекратно изувеченной одиночествами неполной семьи. Все покупки и оплаты были на нем, а когда Ярополку исполнилось три, Ушанский устроил его в детский садик. На выходные и вечерами в будни Лиля стала просить отца посидеть с сыном, чтобы немного отдохнуть, сходить куда-нибудь с подружкой и просто пообщаться с людьми. Анатолий Борисович прекрасно понимал ее потребности, и даже когда Лиля пропадала на всю ночь и возвращалась только под утро с сильным запахом перегара, Ушанский какое-то время закрывал на это глаза, успокаивая себя тем, что девушка несколько лет жила в постоянном стрессе и ей просто необходима какая-то отдушина, что она не пошла во все тяжкие и не загуляла, а просто снимает так накопившееся напряжение. Но постепенно подобный образ жизни вошел у дочери в привычку, и отец как-то утром с содроганием понял одну простую истину: «Моя дочь алкоголичка!»

Это стало очевидным после того, как по утрам, прежде чем ложиться спать, Лиля уже не спрашивала о том, что ел на ужин и завтрак Ярополк, не интересовалась сыном и после своего пробуждения. Раньше она просыпалась и в первую очередь шла к мальчику и только потом начинала приводить себя в порядок, затем плотно завтракала и пила чай с лимоном, а Ярополк сидел у нее на коленях. Теперь Лиля заваливалась в квартиру на автопилоте и сразу ложилась, а когда просыпалась, в первую очередь похмелялась припасенной в холодильнике баночкой «Ягуара», а потом опять возвращалась в постель, чтобы доспать, либо просто лежала и щелкала каналы, залипала в новостной ленте соцсетей и жевала бутерброд, а когда Ярополк подходил к ней, смотрела на него с удивлением и говорила: «Привет, мой хороший, как спалось?», хотя был уже вечер. Не глядя на ребенка и продолжая смотреть в экран, она делала безжизненное движение так, как будто хотела погладить мальчика по головке, но чаще всего промахивалась и начинала гладить Ярополка по плечу или почесывать его шею, словно коту.

В семь лет Ярополк пошел в первый класс. Теперь Анатолий Борисович помогал собираться внуку и провожал его уже не в детский сад, а в школу. Он просыпался в шесть утра от ледящего кровь звука будильника, который осточертел настолько, что иногда казалось, если когда-нибудь Ушанский все-таки совершит смертный грех и убьет человека, то сделает сие именно под звуки своей стандартной мелодии, предназначенной разработчиками смартфона для пробуждения. Он умывал лицо ледяной водой — теперь он уже никогда не фыркал, делал это с беззвучным равнодушием и даже безысходностью. Одевался, варил несколько яиц всмятку, овсяную или гречневую кашу, готовил бутерброды с маслом, сыром и ветчиной, на пять-шесть больше, чем нужно: часть лишних он заворачивал в пищевую пленку и брал с со-

бой, а часть укладывал на тарелку и ставил рядом с соседним стулом вместе с небольшой порцией каши и одним яйцом, после чего шел будить Ярополка. Каждый раз Ушанский производил утренние сборы все равнодушнее, например, он мог забыть почистить зубы или помыть голову, неизменным было одно: он готовил завтрак для внука и следил, чтобы тот хорошо ел, всегда правильно умывался, смывал за собой, мыл руки до и после туалета, правильно жевал, не болтал ногами и не пел за столом, а перед самым выходом на улицу проверял, как собран его рюкзак — все ли на месте, взята ли сменка, пенал и все необходимые учебники.

После завтрака и умываний внука Анатолий Борисович одевал Ярополка по погоде, с учетом силы ветра и предстоящих перепадов температуры, чтобы мальчику не было жарко или холодно. Самым тяжелым временем для Ушанского были болезни малыша — недомогания Ярополка делали деда совершенно беспомощным, вместе с тем в такие дни все курьерские заказы Анатолия Борисовича накрывались медным тазом, и их семья оставалась без обычного дохода. В остальные дни большая часть заказов начиналась ближе к обеду, утром он относил еду только нескольким постоянщикам и время от времени для компании какой-нибудь загулявшей молодежи, которая тусовалась всю ночь и под утро заказывала себе пиццу, роллы или гамбургеры.

Уже в прихожей одетый в пуховик с капюшоном Анатолий Борисович заходил в мобильные приложения курьера, чтобы взять первые на сегодня заказы, надевал свой пустой еще пока желтый квадратный рюкзак и брал тщательно упакованного в одежду внука за руку. Они выходили из квартиры в подъезд около половины восьмого, Лиля к этому времени обычно еще не возвращалась со своих посиделок, поэтому за спиной оставались безжизненная неподвижная тишина и тусклый свет. Выходили из теплого уютного подъезда в неприветливый утренний морозец, на улице куражилась метель, снег выписывал круги и кренделя, ветер тревожно завывал, оттого Ушанский сжимал руку своего внука крепче, чем было нужно, поднимал ему шарф до самых глаз, а затем направлялся в сторону школы, все глубже проваливаясь в шершавую и сизую, враждебно-морозную метель, которая всасывала в себя, как пустота. Оба несли на своих плечах большие квадратные рюкзаки, и в утреннем зимнем мраке походили друг на друга, как никогда, казалось, это идут два школьника: первоклашка и грузный второгодник, который все никак не в силах окончить одиннадцатый класс. Отдаляясь от дома и все полнее растворяясь в импрессионистской истерике разбушевавшейся метели, Анатолий Борисович особенно остро и желанно ощущал тепло руки своего внука — такого близкого, родного и хрупкого, и это тепло обжигало Ушанского неподдельным счастьем.

БЛУДНЫЙ СЫН

На вокзале Екатеринбурга взял такси, благо не все деньги прокутил в Москве. Водитель ждал в фойе, караулил поезд, прибывший из столицы, ловил, что называется, на живца, встречал по одежке, провожал тоже — фиксировал в первую очередь тех, у кого прикид подороже. Но все самые солидные и брендовые отмахивались, уже вызвали через приложения, а кого-то встречают, поэтому остался один я. Таксист бегло окинул мой несколько потрепанный вид, разглядел в захудалом виде моей одежды дорогостоящее respectable прошлое и шагнул в мою сторону, посмотрел уже более заинтересованно:

— Куда нужно?

Я ответил. Он почесал затылок, так что получилась очень выразительная пауза, после чего сразу взвинтил цену, судя по которой принял меня за москвича, но я начал крыть его таким благим матом, что он понял: мы земляки.

— Так бы сразу и сказал! Чего ты, в самом деле?

После моего мата скинул цену в два раза, да и во всем остальном моментально преобразился, даже сумку мою взял, пока шли к машине, решил помочь донести, а когда сели, стал напевать русские народные песни. Я оценил его порыв, но сказал:

— Братулец, это лишнее... давай помолчим.

Дальше несколько минут ехали в тишине, было видно, что таксист все это время переваривал обиду за то, что я стеснил его душевный фольклорный порыв, потом проворчал:

— Да что мы, в конце-то концов, как на поминках!

И включил шансон... Дорога была дальняя. Помню, как в детстве и юности из своего поселка ездил в центр — это всегда была целая история, автобусы ходили зимой раз в час, летом: раз в сорок минут. А пробки всегда непреодолимые: добираясь до центра, уже можно было так упластаться, что хоть сразу выходи на остановке и жди обратного автобуса, поезжай домой, но нет, в молодости обычно ходишь как бессмертный, в темноте светишься, об тебя хоть прикуривай — какая там усталость. Ноги в руки и вперед — навстречу шальной и веселой жизни, к новым знакомствам, встречам, эмоциям! Это сейчас час в дороге туда, час обратно, перекусил — и все, можно уже по частям тебя собирать. А если еще бокал-другой чего выпьешь, то совсем размажет, ничего уже не надо. Иногда кажется, что после тридцати начинаешь разваливаться на куски: идешь такой, а у тебя — батц — палец отпал, оглянулся — почка выпала, моргнул пару раз, а у тебя весь пищевод набекрень, геморрой, давление, повышенная кислотность, гипертония и черт его знает, что еще. Вот мне только сорок лет, для мужика вроде бы совсем не возраст, так, новая веха, можно и детей настругать, воспитать и в новую карьеру окунуться, новым увлечением загореться, в творчество удариться, по миру начать путешествовать и такое все прочее, а я вот смотрю на себя и думаю, какое там сорок, мне же все сто пятьдесят! Уже потрепало и стерло так, как будто волоком меня через всю страну таскали: туда-сюда, туда-сюда — раз десять. То есть прожито так много, выжат и вытряхнут просто до изнеможения, а все как-то непутево получилось и бесплодно, ни друзей настоящих, ни любимого дела, ни любимой женщины, ни детей — одни тусовки да суета.

Деньги приходили ко мне легко, увлекали, будоражили, как шампанское, но лучше бы их не было, они всегда только отвлекали от главного. Встретил прекрасную девушку Таню, сейчас понимаю, что полюбил ее сразу, но все меня смущало, что она из простой семьи, что такая же понаехавшая в столицу, как и я сам, думал, побогаче найду — сейчас даже вспомнить стыдно. Бросил ее, начал встречаться с совершенно чужой мне во всех смыслах, более успешной и эффектной, при деньгах, модельной внешности, вся из себя — мужики на улицах и в ресторанах на нее заглядывались, а я горжусь, как пацан-подросток, не понимаю еще, что счастье свое просрал и любимого человека потерял, променял его на инстаграмную дуру. Без любви и даже маломальских каких-то общих точек у нас с этой моделью все достаточно быстро поплыло: пустая, как красивый барабан — куда мне его, на стену если только повесить. Разъехались, понятное дело, а Танечка уже второго к тому моменту родила. Счастливая, судя по фото, хотя кто ее знает... Она меня тоже сильно любила, я думаю, так только один раз в жизни возможно, а она просто из-за счастливого материнства своего так

светится на фотографиях. По крайней мере, когда встретились с ней случайно тогда, так посмотрели друг на друга, что у меня ноги задрожали, да и на ней лица не было... при муже не подала виду, я подыграл, оба сделали вид, как будто незнакомы, я не стал настаивать, все понимаю, у нее теперь другая жизнь. Но не написать не смог, в тот же вечер отправил ей сообщение, она ответила так, что сомнений уже не оставалось: его не любит, просто уважает и ценит, благодарна ему за детей, а ко мне до сих пор есть чувства, но мало ли кто там к кому чего испытывает, теперь она живет интересами семьи, хранит свой новый мир, заботится о нем... Она, разумеется, не так все написала, но я понял все именно в этом ключе, потому что слишком хорошо ее знаю, и как бы она ни пыталась свое чувство завуалировать в сообщении, правды не утаишь. Говорят ведь не слова, говорит молчание, которое между строк, и эмоции, с которыми она те фальшивые слова написала с требованием никогда ей больше не писать... Возможно, если бы она написала то же самое с равнодушием, я бы так не подумал, но она написала это требование с такой страстью, почти ненавистью, что стало ясно: хочет как можно дальше оттолкнуть меня, потому что боится не удержаться и протянуть ко мне руки, разрушив тот идиллический счастливый мир, который она создала со своим новым мужем...

С любимом делом та же история — здесь тоже деньги все карты спутали, будь они неладны... Со второго раза поступил во ВГИК, на актерское. Пять лет: чисто свалка — тусовки, грызня, сплетни, интриги, снова тусовки, зависть-зависть-зависть. У меня несколько раз были возможности сняться в авторских фильмах, двух короткометражках и одном полном метре, причем, как назло, все три потом прозвучали, вызвали приличный отклик на разных фестивалях, получили премии, хотя все три режиссера были начинающими, да и сценарии, сама команда — все говорило о том, что это гарантированные провалы, и я во всех случаях предпочитал варианты, где мне предлагали стопроцентный успех, вот и получилось, что за всю свою жизнь снялся только в нескольких бездарных сериалах, которые одни дегенераты снимают для других, и в двух коммерческих фильмах, настолько убогих, что матери и отцу говорить даже не стал, потому что от стыда бы за эту лажу сгорел... Да, за этот коммерческий успех в глазах обывателя и позор в глазах любого человека, у которого есть вкус, мне хорошо заплатили, но когда я поступал во ВГИК, мне хотелось совсем другого, видит Бог, тогда я шел не за деньгами, почему же так вышло? Тусовка меня так развратила, повернула, или просто все это в природе человека, ну то есть вот эта тупая примитивная алчность, стремление урвать побольше, залезть повыше, выпендриться поярче? Я вроде не был таким никогда, не понимаю, почему меня в какой-то момент все это так увлекло.

Родителей больше десяти лет не видел. А до прошлого приезда еще лет семь смело бери... Вот как в Москву переехал в семнадцать, на следующий год поступил, первое лето домой съездил, а потом ни ногой до самого диплома, по окончании еще раз приехал и опять пропал, только уже на семь лет. И вот сейчас, еще через десять лет тащусь опять, чучело. Жесть, конечно.

Да ладно так, ты бы хоть звонил почаще, что ли, а то совсем ведь как ломоть отрезанный. Даже денег не перевел ни разу с гонораров своих... конечно, зачем, тебе же надо было побольше цацек купить, чтобы в тусовке быть на равных со всеми, чтобы затмить, пыль пустить в глаза, чтобы на широкую ногу жить, отдыхать дорого и со вкусом, чтобы телок своих безмозглых баловать. У матери пенсия семнадцать тысяч, у отца двадцать, а ты за один съемочный день иногда по шестьдесят, а то и по семьдесят получал. И что, помог хоть раз деньгами? Спросил пару раз из вежливости, а мать всегда одно и то же говорит, им ничего не надо, у них все есть, на все

хватает... Сама даже деньги предлагает, то пару тысяч, то пять — еле-еле отговоришь ведь, а все рвется сэкономленную копейку от своей нищеты оторвать и тебе перевести... А отец все больше отмалчивался обычно. Наверное, потому что злился на меня, из-за наших прошлых нескончаемых ссор, недопониманий, взаимных претензий друг к другу, перерастающих иногда в нескрываемую неприязнь и даже ненависть, а может быть, он просто молчал в силу своей сдержанности. Мужик он и есть мужик, чего ему зря языком чесать. Он меня с братом на ноги поднял, всю жизнь по совести прожил простым трудягой-работягой, кому помощь нужна, помогал, кому в морду надо дать — давал, на таких ведь земля и держится, на настоящих, корневых, невзрачных и молчаливых, честных, которые всю жизнь в тени, а не на тех ряженных клоунах, которые из объективов камер не вылезают...

В окне уже совсем родные и близкие виды замаячили. Почти приехали уже. Когда подъезжали к моему родному поселку на окраине Екатеринбурга, до дома оставалось минут десять езды, а пешком — все пятьдесят. Я попросил остановиться, расплатился, вышел, закинул сумку на плечо и отправился на своих двух. И дело не в том, что шансон осточертел, просто мне действительно хотелось прийти к местам своего детства в самой глубокой и сосредоточенной тишине, не въехать в них, а войти. Наши предки были мудрее нас, они знали, что нужно паломничать по святым местам не на лошадях и не в бричках-телегах, а исключительно пешком, потому что только так можно войти в землю, погрузиться в нее, как в воду — слиться с ней в одно целое и взять с собой ее часть. Предки умнее нас: хотя бы по одному тому, что они уже умерли, а мы еще нет — мертвый всегда сильнее и умнее живого, потому что ближе к Богу.

Почему я подумал о паломничестве, к чему эта параллель? Она невольно пришла на ум, почти бессознательно, а значит, наиболее точно отражает мое состояние. Я будто не в родной дом возвращаюсь, а к Творцу иду навстречу, словно долго скитался, плутал по миру глупый сын и вот наконец-то прозрел, признал-полюбил Отца, вернулся и через это воскрес... Да, я действительно сейчас не просто иду домой. Любая дорога — не только дорога, это путь, особенно если эта дорога в свое прошлое, в детство, в свой дом — навстречу собственной душе.

Я стоял перед старым мостом. Чуть сгорбленный, местами он проседал, годами подминаемый грузовиками, а местами, наоборот, топорщился, точно в старую шкуру сморщился от прожитых лет, от тяжелого и густого уральского дождя, лютого холода и какого-то неправдоподобного, сталелитейного летнего жара, разведенного чугуном и равнодушным солнцем. Старый мост был единственной «дорогой жизни», ведущей в наш поселок и несколько близлежащих старых деревень, — мост в изнанке своей плотно оброс мхом, поистрепался и выщел. Ржавчина источила железные детали, разве что внешняя часть металлического ограждения окрашена черно-белыми полосами, хотя по тому, как плохо и блекло держалась краска, было видно, что ее клали поверх толстого слоя пыли и еще более густого налета ржавчины. В том, что этот мост невольным пограничником стоял сейчас передо мной, разделяя своей потрепанной старостью мое настоящее и прошлое, в том, как эта его старость норвила время от времени неловко подмолодиться, было что-то курьезное.

Я пересек мост, прошел по нему, как сквозь время: шагал по петляющей, избитой и пыльной дороге, вклинившейся в небольшой сосновый бор и разделившей его на две равные половины, напомнившие разрезанный домашний пирог, смазанный желтком, а потому хорошо подрумянившийся и вызревший. Деревья приближались, двигались мне навстречу. Распаренный на солнце бор чадил горячей смолой и разопревшими травами. Терпкий сосновый дух, медово-пряный и клейкий, горько-притор-

ный, такой знакомый и дразнящий, цеплялся ко мне вместе с палой сухой хвоей, наминающей линялую шерсть большого зверя; шерсть ворохом налипала на кеды и брюки, так что казалось, что я сам обрастал ею — бор принимал меня, метил собой, оставляя на теле и одежде свои следы. От летней жаркой сосны всегда пахнет трудом, добротнo-пряным древесным потом, будто бор трудится весь день на солнцепеке, и вот он истомился, часто дышит, отирает шершавыми темными ветвями слоистую и чешуйчатую, как у сушеной рыбы, шкуру, смоченную густым соком женской силы, здоровья и цветения. Мне нравится склеивать ладони и пальцы этой материнской сосновой вязкостью, проводить по черствому брюху ствола, соскребая с него кусочки коры, разлетающиеся в пыль и труху. Это напоминает движение от высохшей старости к влажной молодости, прочь от усталой пресыщенности избыточного жизненного опыта куда-то навстречу белокожей юности и наивности, которую я высвобождаю, срывая с нее черствый заматерелый покров, укутывающий свежесть и первозданность в прочные древесные латы. Точно так от кожуры освобождают банан, так же и старику хочется содрать с себя шарпейскую, будто не по размеру скомканную и задубевшую шкуру личности, чтобы снова стать восторженным и страстным юнцом, способным на глупость, ошибки, свершения и безрассудные поступки, чтобы снова оказаться перед лицом бесконечности, так много обещающей, так сильно искушающей жизни и ее бескрайнего будущего... Я не был стариком, но минутами ощущал себя им в силу обилия прожитых впечатлений, мыслей и эмоций: наверное, поэтому в голову пришли такие невеселые ассоциации, а может быть, я просто чувствовал, что мне необходимо обновление, некое обнуление, чтобы начать все сначала, чтобы снова беззаветно влюбиться в мир и в людей, как когда-то давно, прежде, еще в юности.

Маленькие шишки продавливали подошвы, покальывали ступни комочками рвущейся к жизни стихии, зачатками этой сгущенной древесной силы, которая жаждала высвободиться и материализоваться в самобытном и обособленном древе; точно так развивается и крепнет, набухает мужское семя, положенное в женщину, так растут дети и поднимается к солнцу бронзовеющая густая рожь. Я припал к соснам, прильнул, как в покаянии: накатило чувство вины за прожигание и скитальчество, за ошибки, за то, что не получается быть лучше, чем мог бы, за то, что живу не на пике возможностей, а все как-то рывками, бросаясь то в одну, то в другую сторону. Приближаясь к родному дому, чувствовал: меня безжалостно душит страх неопределенности и чувство вины.

Сразу после соснового бора начинались поселковые постройки: по правую руку сельскохозяйственный НИИ, по левую — детский сад среди выцветших и неопрятных пятиэтажек, похожих то ли на попрошайек, то ли на туберкулезников. В этом детском садике, как в озерной застоявшейся глади, до сих пор бродили мои очертания, отражалось мое лицо, проглядывая сквозь рябь, сквозь разводы и блики — там остались мои следы, слепки детских мыслей и эмоций. Я вспомнил, как притворялся спящим каждый сон-час, а потом, когда воспитательница уходила, открывал глаза и лежал на левом боку, рассматривал смуглую девочку с русыми кудрявыми волосами, похожими на древесную кору, — девочка всегда ложилась на неудобный правый бок, поворачиваясь в мою сторону и делала вид, что спит. Иногда резко открывала глаза — я моментально захлопывал свои, потом открывал снова: она как ни в чем не бывало лежала, притворяясь спящей, но ресницы ее подрагивали, а губы растягивались в полуулыбке.

Помню, как во время прогулок мы с ребятами рыцарственно вырубали крапиву, играли в солдатиков, превращались в космические корабли, пожарные машины или подводные лодки и влезали на забор, чтобы стать парашютистами: все это не только

теплилось в моей памяти, но и сейчас продолжало жить среди старых изгаженных веранд с жестяными корявыми крышами, среди свежеекрашенных песочниц, ржавых горок и корабликов. Этот клочок огороженной казенной территории, как аквариум, был наполнен моей водой, моим присутствием, которое не могли изгладить ни разбросанные вдоль ограждений детского сада водочные бутылки, ни пустые мешочки от наркоты, ни использованные презервативы. Посреди всего этого играли дети, словно деревянная рамка вокруг снимка, их окружал этот мусор. Передо мной резвилось новое поколение моего завтрашнего «я», оно весело рябило в глазах: яркие цветные панамки и кепочки — современное отражение «я» вчерашнего — дети росли сквозь бутылки и сигаретные пачки, как цветы сквозь мусор и свалочный перегонный, — они копошились среди разбросанных бычков, возились в песочнице, чертили палками на земле, задумчиво уткнувшись в нее носом, словно прислушивались к своей грядущей взрослости, которая либо освободит, либо испепелит их. Я верил, надеялся, что хотя бы некоторые из них окажутся сильнее той среды, что их окружает, что они сохранят и пронесут через всю свою жизнь божественный лик и талант, которые есть в каждом из них от рождения.

Сонные, зевающие подъездными дверьми пятиэтажки смотрели скучными пролетарскими лицами, провожали настороженно-отчужденными взглядами и клацали форточками, а я шел и искал глазами все старое и нетронутое, неоштукатуренное — эти заплатки прошлого еще попадались среди свежеекрашенных стен, новых пластиковых панелей, окон и киосков. Совершенно нетронутой осталась старая голубятня, изменив только цвет: когда-то она была ярко-синего цвета, теперь от этого цвета осталось только мое воспоминание о ней. Недавно переехавшему в поселок голубятня покажется грязно-серой, с примесью коричневого и хаки, но я-то знал, что она на самом деле ярко-синего цвета, и это знание делало меня более причастным и близким к моей малой родине, мы как будто договорились с этой голубятней о том, чтобы я хранил тайну ее истинного цвета. Вокруг бегали подростки, они смотрели сквозь голубятню, будто не видели ее, равнодушные и небрежные, а я не мог оторвать от нее глаз, воспринимая их равнодушие за святотатство. Я пытался разглядеть хоть одну птицу, но клетки были пусты, точно так пуста квартира после того, как в ней захлопнули дверь, — когда-то в этой клетке клубилась, пенилась жизнь, хлопала перьями и торжествовала, хрустела пометом — пепельно-серая, белая с рыжиной и фиолетовыми отливами.

Сохранилось и здание почты, когда-то ярко-синие почтовый ящик и вывеска бросались в глаза, а сейчас почта походила на опущенный в воду бумажный лист, который достали и подвесили на бельевые веревки, чтобы высушить, — помню, я любил покупать там разные открытки с видами гор, крепостей, каких-то дивных, неправдоподобно красивых морских берегов, усыпанных пальмами, и высоких, статных красавцев городов. Теперь на ржавой двери висел непроницаемо вечный, напрочь закрытый замок, похожий на те, что попадают аквалангистам, когда они исследуют каюты и коридоры давно затонувших кораблей; казалось, кто-то повесил этот ржавый замок на мое детство, как бы запретил мне возвращаться к нему, но вопреки этому я шел и чувствовал, что становлюсь к нему ближе.

Я дошел до кирпичного здания своей школы, на школьном дворе, к моей большой радости и гордости, увидел бронзовый памятник погибшему в Чечне «альфовцу» — он стоял, красивый и мужественный, держал в руках пулемет, смотрел из-под банданы веселыми жизнелюбивыми глазами. Рядом, будто оттесненный в сторону, притулился обиженный, с завистью поглядывающий на настоящую бронзу «альфовца» Пашка Морозов из терракотовой совдеповской армии, некогда крашенный под бронзу,

но теперь понурый, выцветший, белый, как пломба, застиранный, как старые дедовские трусы, и все так же неизменно обоссанный, каким он был всегда без исключения во времена моего детства. Он настороженно ждал и прислушивался, словно понимал, что уже выброшен на свалку истории и лишь из лени или надуманной политкорректности еще не сметен и не разбит в труху...

Напротив школы — все та же старая церквушка, похожая на булочную с куполом, а рядом, где все мое детство зиждилось плиты, огороженные забором, наконец-то возвысился большой, красивый, правда, не достроенный еще пока храм — ему не хватало самую малость: не было купольной части, но все-таки он зиждился здесь, давая энергию своего присутствия и надежду на торжество добра над злом, чистоты над скверной, любви над ненавистью, вечного над суетным. Я шел по «дороге жизни», смотрел на покосившиеся избенки, напоминающие моллюсков, затянутах илистым дном и водорослями.

Две прилегающие к дороге деревеньки были похожи не столько на дома, сколько на размытые контуры туманных и несбывшихся замыслов — передо мной стояли не избы, а распластались чертежи чьей-то очень одинокой, запущенной жизни и старости. Я проходил мимо домов, так сильно похожих на старые лодки с черными изломами и пробоинами: такие же безжизненные и скрипучие, такие же отвергнутые, только не стихией воды, а советской и российской действительностью. Большинство изб стояло с заплатами на окнах, наглухо заколоченных кривыми досками, но иногда попадались печные трубы; по-хозяйски раскуриваемые, как папиросы, они плевались искрами, хрустели и дымили, штриховали небо, как графитом, а это значит, что некоторые дома еще жили и работали, оставляя на облаках запотевшие и смурые следы своего пожилого дыхания.

После того как я прошел мимо школы, начался самый личный, самый детский мой маршрут, вдоль улицы до самого поселка: «школа — дом», «дом — школа», сколько лет я ходил этим путем, сколько мыслей и чувств меня избороздили здесь, вот и сейчас невольно вспомнилась моя первая любовь. Ее лицо до сих пор помню в мелочах. Она появилась сейчас в мыслях как-то между прочим, будто вдруг случайно ее повстречал. Я начал думать о том, зачем людям дается этот болезненный опыт, безответное сильное чувство, которое на протяжении нескольких лет обескровливает и истощает, о том, зачем людям в принципе с самой их юности посылается так много страданий? Возможно, только сейчас, оглядываясь назад, словно нарочно, оказавшись в самом начале своего жизненного пути, я постепенно осознал: даже самая безответная любовь имеет смысл. Может быть, только безответная любовь и имеет смысл, только она свята, потому что ей чужды категории «дашь на дашь», «люблю за то, чтобы получить ключи от счастья»; безответная любовь свята своей силой и бескорыстной чистой страстью, она свята, потому что животворит и отдает бескорыстно.

Я дошел до своего поселка. Остановился на автобусном пятачке, посмотрел в сторону КПП: ворота были раскрыты, как выбитая челюсть, почти сняты с петель, даже завалились на сторону, поэтому не оставалось сомнения: теперь их уже не закрыть, словно беспощадная стихия внешнего мира и сумасбродного двадцать первого века ворвалась в этот маленький, некогда закупоренный и защищенный край, смела и сокрушила все на своем пути. Вот и кирпичная будка вахты щерилась выбитыми окнами, в ней гудели сквозняки и хрустели разбитые стекла, когда по ним пробегали крысы. Я не вправе идеализировать свою юность, в которой было так много телесного и животного, неприглядного, даже отвратительного, но все же помню наши глаза и наши улыбки, помню наши чувства — в нас было так много духовных всплесков, наши серд-

ца лились через край, и вопреки всему плохому, что было в детстве, торжествовала тихая бесшабашная радость жизни, любовь к миру, друг к другу и каждому новому дню, а все глупое и вздорное, что мы говорили и делали, выплескивалось из одного лишь стыда перед этим высоким чувством, переполняющим нас, которое мы болезненно ощущали, но боялись его, не умели выразить. Никогда больше я не хохотал так громко, так простодушно, как хохотал в детстве и юности — почему? Потому ли, что с возрастом ты уже не способен слиться с окружающими людьми настолько глубоко, так, чтобы возникала подобная гармония дружбы и родства? Или же в том, что с возрастом ты утрачиваешь непосредственность и чистоту? Возможно, именно поэтому среди людей так мало тех, кто по-настоящему счастлив, потому что мы потеряли свое «я» и ту силу, ту пронзительную страсть, которая с этим «я» связана.

Я задумался над тем, что мое неприглядное и незамысловатое детство было совершенным: не совершенством произведения искусства, а шершавым совершенством живой лохматой жизни, в запашке и изъянах которой еще больше гармонии, чем в самом стройном и прекрасном, упорядоченном, но рукотворном... Много ли кому из взрослых под силу построить свою жизнь так же незамысловато просто и искренне, как это было возможно в детстве? Пожалуй, все дело именно в этом.

Я сделал шаг, прошел сквозь «пробоину» поселка, как в прорубь провалился, оказавшись среди ржавых покореженных гаражей: на месте кирпичных боксов с большими деревянными дверьми (когда-то в их проемы помещались военные грузовые машины) теперь был пустырь — росли лопухи, репейник и крапива. Я двинулся дальше, зашел за трехэтажку, где так долго, почти неизменно находилось место общих пацанских встреч, но ни заброшенной водонапорной башни, ни самодельно сымпровизированного футбольного поля со вкопанными столбами и основаниями армейских пружинистых коек, заменявших сетку ворот, ни скамеек по периметру поля, ни турников — я не увидел ничего. Все тот же безликий пустырь, заросший травой, все то же стертое детство, скованное старым ржавым замком, ключ от которого давно выброшен или потерян.

Дальше на тротуаре меня ждали асфальтные следы: правая ступня тридцать девятого размера и левая — сорокового, эти мальчишеские ноги, вторгнувшиеся в тротуарную гладь, как молочные зубы в шоколадную плитку, оставив на ней свои кривоватые и потешные слепки — эти мальчишеские ноги принадлежали мне и моему другу; я смотрел сейчас на эти печати так внимательно, как будто расшифровывал клинопись или был следопытом, который долгое время преследует кого-то, боится отстать в своей неустанной погоне, пока вдруг не понимает, что идет по собственному следу. Смотреть на свои отпечатки ног — то же, что на зеркальное отражение или снимок собственного затылка, разглядывание которого наполняет сладкой жутью почти мистического чувства, то же, что разговаривать с самим собой, в этом есть что-то от самопознания и даже гадания по линиям жизни своей ладони. Давние следы, словно зарубки в дверном косяке, отмеряющие рост взрослеющего ребенка, напоминали об увековеченном детстве, которое, как муху в смолу, засосало, залило в кусок янтаря, отполировало и выкристаллизовало, отделив от всего окружающего, обособив незримым частоколом; менялось и жило все, что вовне, что подле, сами же следы несокрушимым памятником зиждились здесь на страже моего прошлого, как пыльный свиток летописи, ожидавший, что со временем его востребуют и оценят по достоинству, восстановив по этому единственному летописному фрагменту историю целой эпохи. Этот след — археология моего детства, над которым я стоял так, будто читал его — пил, как воду.

Вместо того чтобы сразу идти к своему дому, я свернул в сторону горки, откуда зимой мы катались на санках и «миниках». Горка располагалась с краю моего двора,

с торца моего пятиэтажного дома, откуда открывался вид на поля, холмы и взгорья, среди которых я и вырос. Поднявшись на горку, увидел, что величественные, почти библейские поля моей родины застроены коттеджами бизнесменов и безвкусными дворцами-уродцами, судя по виду, принадлежащими цыганам. Глядя на претенциозное убожество, построенное на деньги профессиональных попрошаек и наркоторговцев, я почувствовал, как меня охватывает отчаяние.

Некогда это иконописное поле, созданное мозолистыми руками, утверждало сытость и жизнь — и вот теперь здесь высились омерзительные коттеджи и особняки. Одни только петляющие и избитые человеком дороги, припорошенные тяжелой сухой пылью, все так же тянулись к линии горизонта, как и раньше, манили к неизвестному и бескрайнему, и даже взбитая пена лесов, окаймлявшая горизонт, да зримые очертания-контуры Сибирского тракта, пролежавшего вдалеке и иногда, словно по ошибке, сливавшегося с линией горизонта, воспринимались не как стена, а как ступень, от которой можно оттолкнуться, оторваться от земли и больше не ступать на нее, смешавшись с небом и его бесконечностью.

Задрал голову и посмотрел вверх: синее и торжественное небо обвесилось абажурами облаков, которые сочились солнечным светом, набухающим и зреющим в их молочной мягкости, свет наливался, пульсировал в них, как кровь в сердечной мышце. Облака, похожие на керосиновые лампы, то подрагивали робким горением, почти шепотом затухающей свечи, то слепили глаза парадной щедростью. Они бросали на землю ленивые дымчатые тени, пеленали ее и кутали приятной прохладой.

Я повернулся в сторону своего дома. Он все так же, как и прежде, стоял у пыльной, исхлестанной временем дороги, темнел пролетарскими красками с проблесками бетонной седины балконов и оконных рам. Я спустился с горки и подошел к своему подъезду. Настороженно пригляделся к родным шторам-занавескам потупившегося на первом этаже окна, вошел в подъезд, дернул дверную ручку — не поддалась, нажал кнопку звонка, сверля тишину собственного детства немощной трелью: обесцвеченного, почти немого, и вот я наконец дозвонился, детство открыло мне, я обнял постаревшую, но от этого еще более прекрасную, хрупкую мать, как к земле прильнул, из которой вышел, пробился некогда своими стеблями и корнями.

Жилой теплокровный запах притихшей квартиры болезненно коснулся меня, я вошел, а дверь закрылась с мягким шелестом, как перевернутая страница, — бегло оглянувшись на красную обивку двери, на почерневший от времени поролон, некогда расковыранный моим нетерпеливым тщательным пальцем, я вспомнил вдруг, как часто стоял перед этой дверью, ожидая возвращения матери. И вот теперь будто в очередной раз дождался ее, и мы снова стояли в прихожей, прижимались друг к другу, я снова чувствовал себя маленьким и беззащитным. Мама улыбалась спокойной и грустной улыбкой, такой тихой и нежной, что я содрогнулся; я пил-пил с жадностью эти нежность и тишину, как отравившийся пес лакал воду в ручье, будто пытался вымыть яд ее живительной чистотой, промыть свое брюхо и освободиться от того, что забирает жизнь изнутри — от отравы собственной греховности и тяжести жизненного опыта, знания всего того, что пришлось узнать о себе самом, о людях и их безумном мире — благодаря нежности и тишине, благодаря нашему спокойному молчаливому объятию я словно вновь стал несведущим и безгрешным смысленным, в непосредственной и щенячьей наивности которого заключались великая радость и великий же покой.

На маме был надет черный траурный платок: из-за него ее оттененное лицо казалось нарисованным углем или тушью — тонкими и вкрадчивыми линиями на поверхности чистого холста это лицо было оставлено чьей-то неторопливой и сосредоточенной рукой, любившей Бога.

— Что случилось?! Почему ты в трауре? Это из-за меня?! Мама, прости меня, я так долго молчал... прости.

Я с трудом сдерживал слезы, а мама покачала головой, почти прошелестела ей, как ветвями по окну царапнула, и улыбнулась своей тишиной еще оглушительнее, еще чище и нежнее:

— Нет, нет, не из-за тебя. Это твой отец. Вчера утром он умер, завтра похороны.

Я удивленно отпрянул, внимательнее присмотрелся к дороговому, любимому лицу и прошел в комнаты, перешагивая их гулкое обездвиженное молчание, которое я мям, как руками мнут другую руку, разглаживая складки теплой кожи в попытке примириться и сблизиться. Зеркала были занавешены, что делало квартиру еще более непроницаемой и сдавленной, как нервно поджатые губы. У землисто чистых, теплокровных и сосредоточенных икон горела дрожащая лампада, делая лики похожими на хлебные лица многострадальных предков, выглядывающих теперь на меня из прожитого сумрака и небытия; устоявшиеся и окрепшие, окончательные и полностью пропеченные, бессмертные, они смотрели с немым упреком и ожиданием. В этом упреке не было злобы и требовательности, лишь только любовь и вера в то, что я могу быть лучше, чем здесь и сейчас на тот же самый упрек я наткнулся только что в чертах матери, когда она открыла дверь и прижала меня к груди после многолетней разлуки и моего непростительно затянувшегося отсутствия.

В комнате на табуретках стоял пустой черный гроб, похожий на большую колыбель, а рядом в постели лежал отец, накрытый простыней до плеч, так просто и непринужденно, как будто сам укутал себя и задремал; это была родительская постель — супружеское ложе, на котором я был зачат. И вот теперь на нем, как в лодке, лежало бездыханное тело моего отца, щепкой отколовшегося от жизни. Подле кровати на столике — таз с мыльной водой, внутри желтела губка, похожая на краюху хлеба, брошенную в молоко, а около таза — аккуратно свернутое нательное белье, напомнившее мне конверт, приготовленный для только что написанного и еще не отправленного письма. Я подошел ближе, поежился, не в силах понять, что чувствую.

Мама вошла следом.

— Я собиралась обмыть тело, все приготовила, а тут ты приехал, как знал... Тебе кто-нибудь сказал?

— Нет, я ни с кем не поддерживаю связи, ты же знаешь... Что с ним случилось?

— Сердце.

Я молча кивнул, а потом вдруг понял, что будет правильнее, если сам подготовлю его к последнему пути. Сходил в ванную, помыл руки, соскребая грязь с пальцев и вычищая ногти так тщательно, будто собирался принимать роды, после чего умыл лицо, до скрипа отерся теплым и сухим полотенцем, переоделся в домашнюю рубаху, высоко закатав ее рукава, затем вернулся в комнату и подошел к отцу, щадя наготу, откинул с него простынь не полностью, обнажив верхнюю ее часть по пояс, а нижнюю приподняв до бедер, оставив между ног своеобразную «повязку». Отец лежал на клеенке, которой была застелена вся постель. Мама без слов поняла мое намерение, пододвинула таз ближе, села у изголовья покойного, положила подбородок на руку, которую уперла в колено и задумалась. Я взял губку, выжал ее и занес над отцом, замер на минуту, всматриваясь сначала в лицо, оно казалось мне теперь плохо знакомым, каким-то обновленным и неизвестным, потом я невольно опустил глаза на похудевшее и немощное тело мертвого родителя: суглинистое и смуглое, как комья земли, оно отливало синевой и белесой матовостью. Отец лежал передо мной распластанный и удивленный, остановившийся, как часовая стрелка, некогда бодро спешившая, а теперь равно-

душная к ходу времени. Живот, ноги и грудь с жесткими, скатавшимися в кольца волосами были неподвижны и темны — я невольно подумал, что все это свежескошенная трава, чернозем, из которого вышло мое «я» — дерево, семенем которого я пал в мир.

Рука с губкой двигалась по окостеневшему телу, оставляя влажные следы, делала его по-утреннему свежим и бодрым. Когда я снова опускал губку в таз, мыльная вода плескалась и пузырилась, она густела, плотнела и начинала темнеть, как подтаявший весенний снег. На секунду мне показалось, что я оттираю это тело не от прижизненных еще выделений, не от следов первых прикосновений смерти, я почти скоблил, оттирал его от ненависти, которую испытывал к отцу при жизни, — от ненависти, которая была нашей общей с ним скверной и грязью. И вот теперь я вычищал ее, как копыт со стекла соскребал, пытаюсь вернуть его первозданную прозрачность... После того как вода совсем побурела, я хотел вылить ее в унитаз, но мама верила, что по древнему обычаю воду после обмывания покойного нужно сливать на угол дома, где ничего не растет, а сам таз и губку выбрасывать на перекрестке дорог, поэтому я сделал так, как она велела: вышел во двор и слил грязную воду в земельную черноту так, будто возвращал праху его прах. Потом вернулся в квартиру, ополоснул таз душем и набрал свежей голубоватой воды. Вернулся в комнату и уже без мыла, одной только этой влагой, как будто купал младенца, стал отирать своего отца, мысленно просить у него прощения.

Каждый раз, принимая душ, я ловил себя на ощущении обновления, на том, что вода смывает нечто изжитое и застарелое, избавляет от вторичного и пройденного, сглаживает мои воспоминания, высвечивая в них только самое главное. Вот и сейчас я чувствовал нечто похожее. Я был уверен, что все плохое, что было связано с нашими отношениями, только что растворилось в почве, исчезло в небытии, а осталась одна только моя благодарность за дар жизни, за это неиссякаемое каждодневное чудо, которое жизнь преподносит мне.

Когда я закончил, мама понесла таз с губкой на улицу, чтобы сделать все по старинке, а я остался один, вошел в детскую комнату, где вырослел вместе со старшим братом. Тихий, присыпанный пылью солнечный свет ложился на старый вытертый ковер, преломлялся сквозь кружева хрустальных чехословацких ваз. Я вышел на балкон и умилился: заваленный старыми мешками, среди пыльных трехлитровых банок лежал розовый портфель из свиной кожи, в котором я когда-то хранил свою пластмассовую армию. Достал его и высыпал маленьких зеленых воинов на пол: кусочки детской радости весело забряцали и захрустели под ногами. Тут же, среди тех же банок стоял прислоненный к стенке велосипед — красенькая стремительная «Кама», напоминающая каравеллу, на которой я открывал новые миры; с черными резиновыми ручками и сидущкой-треуголкой, похожей на шляпу не то Америго Веспуччи, не то Колумба, эта старенькая «Кама» до сих пор казалась мне совершенством. Все такая же незыблемая, она смотрела на меня сквозь десятилетия и звала за собой. Даже в спицах была зажата прищепкой все та же пластиковая игральная карта (туз треф), которая во время езды лихо трещала.

Я разгреб завал, извлек дребезжащий катафотами и колесами велосипед, с трудом сдвинув намертво застывшую ручку регулировки высоты сиденья, затем поднял сидущку. Отцовские инструменты хранились в прихожей. Проходя мимо комнаты, в которой лежал покойный, я непроизвольно стал ступать на носочки, будто боялся потревожить его сон и разбудить. В нижних ящиках рядом с секретером, почти не глядя, нащупал масленку и смазал цепь, которая сразу стала влажной и податливой, помолодевшей. Там же я нашел велосипедный насос, подкачал колеса. Насос сипел и пыжился,

пока велосипед не ожил; протер его тряпкой, так протирают запотевшее окно, чтобы разглядеть за ним дорогое сердцу лицо.

Я открыл входную дверь и крикнул в комнату, где лежал свежееобмытый и прибранный отец рядом с настороженно ожидающим, широко раскрытым гробом, поставленным на табуреты:

— Папа, я готов!

Кровать скрипнула, и отец ответил:

— Сейчас, спускайся пока на улицу. Уже иду. Только оденусь.

Я сразу повеселел — вот оно! Настал долгожданный момент: сегодня я научусь седлать новенький велосипед, поэтому почти вприпрыжку скатил по ступеням своего нетерпеливого, жаждущего скорости жеребенка и стал с упоением ждать у подъезда. Свой первый велик — крохотный «Олимпик» — я с чувством невероятной гордости бросил вчера в отцовский гараж, отделив его от себя, как шкуру, которую давно перерос. И вот я держу в руках сверкающую красную «Каму», смотрю на нее влюбленными глазами! Отец спустился через несколько минут, зевающий, в расстегнутой кожаной куртке, он улыбнулся и помог мне взгромоздиться на сидушку, поддерживая волосатыми руками мои лысые и костлявые коленки, плоские мальчишеские ягодицы. Чуть подтолкнул меня, я сразу стал крутить педали, с таким усилием напирая то на одну, то на другую ногу, как будто учился ходить. Руль сильно вилял, не поддавался, мне никак не удавалось удержать равновесие, и я чувствовал: если бы отец не держал меня сейчас за сиденье, я бы давно навернулся и расшиб колени, локти и голову. Но вот я стал разгоняться, отец еще немного подтолкнул и, когда почувствовал, что я уже сам держу равновесие, вдруг отпустил. Он остался за спиной, а я крутил педали и набирал скорость, думая, что вот сейчас шнурки моих детских башмаков разлетятся лапшой и их зажует в цепь, поэтому боялся распрямиться и посмотреть прямо перед собой. Я таранился на свои вращающиеся ноги, на новенькие педали с оранжевыми катафотами и никелированными прожилками. Еще через несколько вращений я пообвыкся и осмелел, не только поднял голову выше и распрямился, но даже смог оглянуться назад — отец бежал за мной и улыбался. Когда мы встретились глазами, он понял, что теперь я уже точно смогу сам, что теперь я уверен в своих силах и могу двигаться вперед без его помощи; он остановился и помахал мне вслед. Я кивнул ему, засмеялся и стал разгоняться.

Завтра нужно было идти в школу — завтра, все это будет завтра, но сегодня, сейчас я оседлал сам ветер и еду навстречу неизвестности, разгоняюсь все быстрее и стремительнее, режу земной шар и его метры педалями, словно ножницами, а мир разлетается передо мной тонкими лоскутками, падает резаными полосками позади — изведанный и познанный, открытый, как прочитанная книга, и вот я двигаюсь только вперед, в неисчерпаемую новь — она ждет и будоражит меня, она так же нетерпелива, как и я сам, она — вся моя бессмертная жизнь.